НЕЛЛИ ГРИГЕР

Шахматный король

НЕЛЛИ ГРИГЕР

От автора:

Сходство характеров и обстоятельств с реальными прошу считать случайным.

Художественное оформление:
Анжелики Буллер и Лилии Григер
Компьютерная обработка:
Дитера Фоса

Начало эпилога

Моя мать - очень терпеливая женщина. Я был её единственным сыном и уже семилетним научился извлекать из этого обстоятельства свои маленькие радости жизни. Я говорю был, потому что теперь меня уже нет. Вернее, нет того, кем я был раньше. Биологически я всё ещё существую, но человеком меня назвать уже нельзя: у меня нет любимого или хоть какого-нибудь дела, меня не мучают угрызения совести, зависть и обиды, я не боюсь смерти, так как сегодня и завтра слились для меня в один бесконечный день, и я не верю, что он когда-нибудь кончится. У меня нет друзей и нет матери. Эта женщина, которая меня родила, с которой я почти никогда не расставался и с которой я всё ещё живу в одной квартире, не может быть моей матерью. Я не испытываю к ней никаких чувств, как, впрочем, и ни к кому другому, как, впрочем, и к себе самому.

Правда, мой мозг продолжает работать, хоть и вышел из-под моего контроля и включается и отключается, когда ему вздумается. То, что я и мой мозг не одно и то же, я понял, когда началась эта история со спятившим киношником, который прокручивает перед моим внутренним взором какие-то картины, лица, обрывки сюжетов без смысла и логики. Иногда это немое кино, иногда оно сопровождается звуками и голосами, которые накладываются друг на друга, усиливаются до невыносимой боли в ушах или вдруг умолкают, независимо от моего желания. Мой мозг демонстрирует свою

независимость. И тогда я не могу приостановить его работу или систематизировать информацию, в него заложенную, запомнить или уловить смысл. Мой мозг существует сам по себе. Я его оболочка, вышедшая из строя машина, пустая скорлупа. Из всех желаний моего, бывшего когда-то таким живым и прихотливым, тела осталось только одно - уснуть бы. Притаившись, я наслаждаюсь короткими мгновениями покоя и пытаюсь отодвинуть подальше тот момент, когда меня опять подхватит незримая, бестелесная сила и понесёт, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее по спирали, упирающейся в бесконечность; когда, сорвавшись с очередного витка, я полечу к тому клубку, сплетению, тупику, навстречу тому мгновению, когда всё потухнет, смолкнет, превратится в ничто; когда я перестану существовать, пережив в очередной раз своё бессилие, неотвратимость катастрофы, свою конечность. Очнувшись, я не испытываю облегчения. Я констатирую факт: продолжение следует.

Мой мозг - мой властелин. Как это я не догадывался об этом раньше? С самого детства, как только я начал осознавать себя, я не мог перестать думать, уже тогда был во власти его гипноза. Позже я считал это своё качество привилегией избранных. Теперь же, устав сопротивляться, доведённый им до полного изнеможения, отчаявшись найти спасение в алкоголе, наркотиках и других более или менее безобидных занятиях, я хочу только одного: нескольких часов сна без снов.

Наверное, так сходят с ума. Возможно, что уже

очень скоро наступит момент, когда я перестану понимать, что со мной происходит, перестану анализировать своё состояние и искать слова, характеризующее его. А может, это он, мой мозг, выхватывает из памяти услышанные когда-то психиатрические термины: раздвоение личности, галлюцинации, шизофрения, чтобы сломить меня, унизить, уничтожить. Пользуясь моей же памятью, мною пережитым, пытается вызвать у меня угрызения совести или сентиментальную жалость к себе. Но в последнее время это ему почти не удаётся. Я всё ещё цепляюсь за свой последний и жалкий клочок воли: если я уйду, то уйду добровольно, а не в минуту слабости или сомнения, когда я не смогу провести черту между мной и им, моим мучителем.

Иногда в эту утомительную борьбу включаются посторонние. Жалкая подачка или очередной трюк моего мозга - ко мне возвращаются картины из моего детства. И тогда я вижу отца, мать, учителей, моих тогдашних одноклассников и веду с ними беседы. Эти сны наяву я люблю больше, чем настоящие сны. Я присутствую в них, меняя направление разговора, провоцирую собеседника, манипулирую, припираю его к стенке своими доводами, милую и казню. В настоящих же снах действие развивается по написанному не мной сюжету. Проснувшись, я пытаюсь припомнить увиденное, разгадать его символику. А мой мозг издевается над моими напрасными усилиями. Сферу подсознания контролирует тоже он.

Но что такое я? Мне необходимо найти ответ на

этот вопрос, чтобы не потерять свою независимость. Моё сознание - это сумма чужих знаний. Мои чувства - это реакция того же самого мозга на окружающий мир. Любовь, страх, чувство долга и прочая сентиментальная чепуха - это ничто иное, как результат сравнения и анализа ранее пережитого, привитого воспитанием, впитанного с молоком матери или заложенного в генах с сиюминутными впечатлениями. Мне кажется, что я счастлив и влюблён, а на самом деле одна плитка шоколада может произвести в организме такой же внутренний подъём, как и состояние влюблённости. Гормоны вырабатываются одни и те же. Мне кажется, я выбираю, а на самом деле, где-то в подсознании закрепился образ любимой воспитательницы детского сада, курносой или рыжеволосой, которая выделяла меня из всех детей и потихоньку подкармливала сладостями. Вот меня и тянет всю жизнь на рыжеволосых или курносых. Марионетка, последняя буква в алфавите, придаток мозга.

Что же остаётся мне? Он контролирует почти всё: сознание, подсознание, поступки, распоряжается моим телом, здоровьем, клетками, гормонами и прочей бесполезной материей. Если отбросить всё, что не я, то останутся одни рефлексы, а значит нечего возноситься - от обезьяны мы ушли недалеко. Только не бананами нас берут, а курносыми барышнями, или интеллектуальными подачками. Кому чего не хватает.

Что останется, если отнять от меня всё чужое или поддающееся влиянию? Теперь, когда почти ничего

уже не имеет значения и ничего невозможно изменить, я догадался об этом. (Спасибо мозгу - его мыслями я об этом догадался).

Я – это тот жалкий комок воли, который от меня остался, и вопреки всему продолжает жить и обладает аппетитом, смеётся над собой и этой бессмыслицей, которую часто называют судьбой, что бы это не обозначало. Ничего не делая, я умудряюсь уставать и засыпаю, тем самым перехитрив свой мозг, отключив его на минуту, на час, на несколько часов. И если мне это удаётся, я праздную свою маленькую победу, злорадствую в предчувствии того дня, когда я отключу его навсегда. А пока... мне остаётся довольствоваться подачками своего мозга, который в минуты просветления возвращает мне память, иногда клочками и обрывками, а иногда и целыми главами из моей беспорядочной жизни, которые, неизвестно зачем и для кого, я пытаюсь записывать. Память. Я иду по этому шаткому мостику туда, откуда всё началось, в своё первое осмысленное воспоминание.

Я иду... Какая нелепая фраза в устах инвалида-спинальника с парализованными ногами.

Глава 1 Мать

В душевном устройстве моей матери была мазохистская струнка, и это определяло суть и образ её жизни. Удачливые люди никогда не имели у неё шанса казаться интересными. Она любила людей мрачных, неудовлетворённых, изломанных. Воспитанная на образцах русской классики, напичканной обаятельными аристократами, вроде Печорина, Онегина и „хромого барина“, она и в жизни искала своего „разочарованного героя“ и, конечно же, нашла. Не долго думая о причинах его разочарованности, она сделала его моим отцом и первое время даже была счастлива. Судьба подарила ей человека, которого она всю жизнь могла изучать, как роман, открывать в нём новые противоречия, сомневаться, спорить с собой и окружающими и расшифровывать подтексты. Её чувствительная душа и аналитический с психологическими наклонностями ум нашли цель и оправдание своего существования. Каждый получает по заслугам. Жизнь с „хромым барином“ надо было прожить, и грех было жаловаться на судьбу, которая дала ей то, чего она в глубине души желала.

Но её слёзы, душещипательные разговоры и семейные катастрофы очень скоро превратились в повседневность и стали навевать скуку на моего отца. Он стал часто пропадать из дому. Мать была только действующим лицом, а он - автором своего приключенческого романа. Возможно, он вскоре исчез бы из её жизни окончательно, и мать, не лишённая

романтики, скорее всего, нашла бы себе другого героя, какого-нибудь злого гения провинциального масштаба, а книга нашей общей судьбы осталась бы ненаписанной. Но родился я.

Момент моего рождения очень долго оставался для меня загадкой. Когда мне было семь лет, я обнаружил в семейном альбоме свадебную фотографию моих родителей. Они сидят в окружении наших немногочисленных родственников. Мать, в светлом платье, с маленьким букетом белых цветов, с лицом мадонны, которая умудрилась родиться в середине двадцатого века, и совсем не вписывается в интерьер. Брови, уголки глаз и губ опущены вниз, подчёркивая скорбное выражение лица. Её плечи слегка опущены, бёдра по отношению к ним непропорционально широки. В целом создаётся такое впечатление, что она сильно устала и только что грузно и безвольно опустилась на стул.

Отец, хотя ему только тридцать три года, выглядит очень старым и одиноким человеком. Губы сжаты в скептическую усмешку. Он напряжённо смотрит в объектив, и я отвожу глаза. Этот взгляд меня гипнотизирует, он внушает мне страх. И этот страх мешает мне понять, что же он от меня хочет. Мне стыдно, что я такой бестолковый. На глаза наворачиваются слёзы. Ему легко было меня воспитывать. Не прилагая никаких усилий, не тратя лишних слов, он всегда добивался моего повиновения. Достаточно было только этого взгляда.

Всё это пришло мне в голову значительно позже, когда я снова и снова брал в руки эту фотографию,

пытаясь найти ответы на мучившие меня вопросы. Тогда, в семь лет, меня ошеломило только одно: на фотографии среди своих родственников я увидел себя. Мне почудился в этом какой-то обман. Я был уже тогда, когда они поженились. Я был уже до них и без них. В этом мире, который благодаря разъяснительной работе моей матери, казался таким простым и упорядоченным, оказались возможными нарушения последовательности. Я был сбит с толку. Я плакал, сам не зная почему. Утром моя печаль улетучилась, но подозрение осталось: я им чужой. Они только притворяются моими родителями, и я постоянно искал подтверждения своей догадке, превратившись в маленького семейного тирана. Я постоянно требовал к себе внимания, выдумывал самые изощрённые желания и болезни. Самопожертвование матери пришлось здесь к месту.

Мои болезни - самые приятные воспоминания моего детства. Я любил свою температуру, компрессы, ингаляции и вызовы скорой помощи. Мать не шла на работу, мы оставались с ней вдвоём, читали, играли, ели много сладкого. Однажды, когда температура была особенно высокой, ей показалось, что у меня начались судороги, и она вызвала скорую. У матери случилась истерика, её пришлось вывести в другую комнату, так как она мешала врачу своими причитаниями с заламываньем рук. Эта была не игра, это были настоящие чувства, которых ей так не хватало в повседневности. Отец как раз переживал свою соглашательскую фазу: ходил примерненько на работу, вечера проводил дома за бутылочкой пива, у телевизора, где и засыпал часто. А я

оставался в широкой родительской кровати и засыпал под звуки её голоса. Мать знала массу смешных детских песенок и историй, которые придумывала для меня и про меня. Я был счастлив. Да, да, я помню, что был тогда счастлив, не ныл и не плакал от боли, мечтая о том, чтобы завтра всё повторилось. Из последних сил держался, чтобы не уснуть, чтобы не спала и она - ради меня.

А утром мать хваталась за телефон и звонила бабушке, одной и другой, чтобы пересказать в деталях историю моей болезни и вызова скорой помощи. Рассказывала с воодушевлением - в её жизни произошло что-то значительное, даже трагическое: единственный ребёнок чуть не умер от судорог! Потом принималась за свои всегдашные дела, проверяла диктанты и сочинения, так как работала тогда учительницей в школе. И между нами опять появлялась эта ненавистная мне перегородка.

С годами проблем с моим здоровьем становилось всё меньше, родители не стали обращать внимание на мои вымышленные болезни, а настоящие случались не так уж часто.

Отец часто отсутствовал, приезжал на выходные, переодеться, отъесться, поскандалить с матерью. Официальная версия была - он работает по командировкам. Денег от этой его работы мы почти не видели, и мать набирала почти две ставки часов, чтобы, как она говорила, существовать на уровне. Мы и существовали. Утром шли в школу: она в свою, я в свою. После обеда возвращались домой,

она, чтобы наскоро приготовить обед, немного почитать и подготовиться к урокам, я, чтобы поесть, немного почитать и подготовиться к урокам. Все крутилось вокруг школы. Каждый день одно и то же, с незначительными отклонениями. Тягомотина - слово, придуманное отцом, начинало мне нравиться. Мы всё реже разговаривали друг с другом. Мать с отцом умудрялись из невинного обсуждения фильма или нового романа устроить колоссальный скандал. Меня они всерьёз не принимали, и разговоры со мной сводились к трём простым фразам: Ты поел? Ты уроки сделал? Тебе пора в постель.

Перед тем, как заснуть, я предавался своему обычному занятию - я думал. Сначала это были наивные, мучительные вопросы наблюдательного ребёнка, научившегося не задавать лишних и не раздражать своим присутствием и назойливостью родителей. Может ли у нас в городе случиться землетрясение? Будет ли опять война? Почему люди умирают? И почему мне каждый день нужно идти в школу, хотя моя мама учительница и могла бы меня дома учить уму-разуму. Подростком я спрашивал себя, почему мои родители, как мне казалось, ненавидят друг друга, но продолжают жить вместе. Я не понимал, почему все вокруг так много говорят, хотя сказать им по-существу нечего. Ответов не было, во всяком случае ночью. Ночью были тени, и страхи, и слёзы. Днём были книги, в которых я искал ответы, телевизор, который отвлекал и развлекал.

А матери не хватало интеллектуального общения. Её духовная жизнь требовала анализа и обсуждения, и

она завела старомодный дневник - довольно практичная вещь, если хочешь узнать, кто твоя мать и знаешь, где она его прячет. Тогда, в детстве я читал её дневник, как запрещённый роман, не позволяя себе судить или миловать, просто из какого-то низменного интереса, не пропуская интимных подрбностей из её жизни. Психологи обрадовались бы, наверное, читая мою биографию, находя в ней подтверждение эдипову комплексу. Но не думаю, что я страдал им. Читая, я забывал о том, что речь идёт о моей матери. Запретный плод сладок, и долог день до вечера. Позже, читая и перечитывая дневник, я изучал характер матери, чтобы уличить её в противоречиях, сумбурности, непоследовательности. Но это было значительно позже.

Она вела свой дневник очень аккуратно, указывая число и день недели. На обложке её каллиграфическим почерком было выведено: „Дневник самоанализа и самокритики“, что меня позабавило, но и заинтересовало. Трудно сказать, что я понял и запомнил из прочитанного в первый раз, а что добавилось позже, но со временем я сделал из её дневника свою настольную книгу, даже игру. После каждой ссоры я наслаждался её откровениями, часто бессилием перед моим тяжёлым характером, потешался, если мне удавалось спровоцировать интерес к моим вымышленным детским проблемам. Признаюсь, что был злым ребёнком, но смышлёным и развитым не по годам. Приключения пиратов и индейцев меня никогда не интересовали. Уже в тринадцать лет я читал взрослые книги и даже классику. Но интерес к этой коричневой тетрадке с

чувствами и мыслями живого, знакомого мне человека не мог сравниться ни с каким романом. Я знал многие отрывки наизусть, перечитывал стихотворения, которые она, называя себя доморощенной поэтессой, время от времени сочиняла, аккуратно вписывая в свой дневник. Я знал о своей матери больше, чем кто бы то ни было из её окружения. Сентиментальность её музыкального вкуса, восторженность и театральное кокетство вызывали у меня раздражение. Если бы я не ушёл в себя, а она не оставила меня в покое, мы бы, наверное, постоянно скандалили.

Я знаю, что когда-то любил её, как никого другого, в тринадцать лет я хотел, чтобы она любила только меня, а к шестнадцати годам она вдруг перестала для меня существовать. Мать не усматривала в этом никакого подвоха или неблагодарности. „Естественный процесс отпочковывания“, - появилось в её дневнике. Я же считал, что вырос из её нравоучений, перерос её собственное развитие. Моя мать казалась мне атавизмом, ненужным придатком, стесняющим мою свободу. То, что она называла своим жизненным опытом, пытаясь им со мною делиться, я за ней не признавал, безобидно посмеиваясь над её старомодными, вышедшими из строя идеалами и политической слепотой. Избегая ссор и конфликтов, я научился сосуществовать с ней так, чтобы она не надоедала мне своими нравоучениями и страхами, снабжала необходимым и даже гордилась моим острым и критичным взглядом на мир. Время, потраченное на изучение её характера, приносило плоды.

Никаких угрызений совести на этот счёт у меня не было. Ведь её привлекала роль жертвы. Об этом кричали все странички её дневника. „Страдать благородно. Страдание испытываешь интенсивнее, чем радость. Когда страдаешь, чувствуешь в себе душу.“ Эти и им подобные выражения встречались в её философствованиях и стихотворениях, как, например, это:

В предчувствии дождей я сладко-сладко плачу.
И скептика совет меня не отрезвит.
Меня не излечить и не переиначить -
Мне нравится, когда душа моя болит.

Да уж, наверное, стоило бы полечиться. Но для постороннего взгляда всё выглядело вполне нормально, а к психиатру обращаться стыдно. А если ещё любишь эту свою мазохистскую струнку, то и ни к чему. Во всяком случае, я узнал о своей матери, что она в своём больном воображении уже много раз пережила минуту моей смерти. Она рисовала себе всевозможные ужасы, которые могли со мной приключиться. Глядя на неё, стоящую у гладильной доски, никто и не подозревал, что за этой маской спокойствия скрывается такая буря чувств. Она была готова к самопожертвованию, которого от неё никто давно уже не требовал. Если в доме было спокойно - никто не болел, не истязал другого подозрениями, равнодушием или ревностью, - душа её прозябала. И она спасалась бегством в свой воображаемый мир, в котором по её сценарию постоянно что-нибудь происходило: она видела себя стоящей у больничной постели своего умирающего мужа или у

гроба выдуманного ею близкого человека; она слышала жалостливые разговоры о себе своих подруг, представляла себе годы одиночества, которые она мужественно перенесёт. Один из вариантов испорченной жизни был эпизод с любовником. В этой мелодраме она мечется между жалостью к мужу и новой любовью. Но чувство долга перед семьёй побеждает. Впрочем, вариантов было много. Мать теряла ощущение реальности, неподдельно страдала и даже плакала. Я помню, что она часто сидела в неподвижной позе с каменным лицом, глядя перед собой. Только иногда глаза становились влажными, что свидетельствовало о кульминационном моменте в той, другой жизни. Я спрашивал: „Мама, почему ты плачешь?“ Она приходила в себя, неловко смеялась и уходила на кухню, чтобы готовить, мыть, утюжить, то есть делать то, для чего её бог не создал. А вечером записывала в коричневую тетрадку странности своего поведения, сама себе удивлялась или искала оправдания. Матерей не выбирают, ими наказывают.

Глава 2 Школа

В школе я был середнячком, которого не замечали. Родители были нечестолюбивы и не требовали от меня больших успехов и хороших отметок. Вот если бы я был последним в классе, мать забила бы тревогу, побежала бы к психологу или психиатру, посещала бы уроки и ругалась бы с учителями, которые не в состоянии донести, заинтересовать, мотивировать. Но, к сожалению, я был не последним и, не прилагая никаких усилий, получал свои тройки, а иногда даже четвёрки, переходя без проблем из класса в класс. Я много читал, язык у меня, как говорится, был подвешен, а на уроках приходилось слушать, так как друзей у меня не было, и я сидел один за первой партой прямо перед учительским столом. Одноклассники оставили меня в покое. Я не принимал участия в потасовках, не задирался, не заискивал перед учителями, был равнодушен к оценкам, не имел заграничных тряпок, в общем был неинтересен. Но своей ролью я был доволен: не в моём характере было кучковаться, искать популярности, или же пресмыкаться перед каким-нибудь гонористым, прыщавым лидером, или же зарабатывать дешёвый авторитет, скандаля с учителями и мелко пакостничая.

Были в классе и другие одиночки, которым приходилось хуже. Одним из них был маленький, невзрачный и запуганный до одичалости мальчишка, сын ненавистного всеми учителя математики. Учитель этот был предметом насмешек всей

школы. За его долговязость, худобу и скверность характера привязалась к нему кличка „Змей“, а „Змеёныш“ отдувался за грехи своего отца. До сих пор не понимаю, как умудрился он закончить десять классов в нашей школе, где его систематически унижали, высмеивали, поджидали после уроков, гнали до самого дома, забрасывали снежками, выбивали из рук портфель и тому подобное. Бить не решались, а просто травили, как зверька. Изо дня в день. А он не жаловался, принимал, как должное, знал, за что страдает. Ну, да ведь и отцов не выбирают.

Так что быть незамеченным имело в нашей школе свои преимущества. Роль постороннего немногословного наблюдателя нравилась мне значительно больше, чем роль затравленного зверька. Много лет спустя мы случайно встретились со „Змеёнышем“ в одной компании. Он рассказал мне всю свою послешкольную историю: женат, двое детей, милиционер по профессии, работа не пыльная - охраняет вход в какое-то учреждение, собирается купить дом в деревне и разводить кроликов. И при этом сиял самодовольно и был убедительно, искренне счастлив. Ни следа от той затравленности, никаких комплексов, даже какая-то лёгкость в манере общения появилась.

Как это ему удалось? Где же пряталась эта живая, общительная натура? А теперь, когда опасность миновала, проклюнулась, живёт и радуется. Что это? Сила или слабость духа? Или приспособленчество? Как можно было простить судьбе и окружающим все эти десять лет унижений и страха?

Может он, мой бывший одноклассник, и не понял, что с ним происходило, не смел или не умел думать об этом? Не с чем было сравнить? Я знал, что он был младшим ребёнком в многодетной семье. Мать, с утра до вечера занятая по хозяйству, отец, по характеру угрюмый, немногословный человек, да ещё учитель - им не до своих детей. Наверное, дети росли сами по себе, друг друга воспитывая. А младшему доставалось ото всех. В школе - всё та же история. Он и не заметил разницы между своими и чужими. И никогда не чувствовал себя единственным и неповторимым, любимым ребёнком. Один из многих, только слабее и глупее, и привык к этой мысли и, наверное, поэтому не страдал. А когда всё это кончилось - одноклассники повзрослели и поумнели, перестали мучить, братья поразъехались, нашлась даже какая-то любящая душа, замуж за него вышла, - он только тогда начал жить, проклюнувшись из своей скорлупы. И потому не озлобился.

Но ведь могло случиться иначе. Младшенький, любимый или единственный ребёнок в семье. До пяти лет балуют, книжечки читают, любуются, изумляются каждому наивно-умному слову, наряжают, как куклёнка, показывают родственникам. И вдруг проявляются первые трудности характера: лень, отсутствие каких-либо интересов или способностей. Лежит такое чудо целый день на диване у телевизора и лопает конфеты. А в тринадцать лет превращается в долговязого и нескладного подростка. Что на него не надень - гадкий утёнок. И уже никто им не любуется и не гордится, а только морали читают, а то и поддают за то, что посред-

ственность и разочарование для семьи. А посредственность не понимает, в чём это она провинилась. Ей-то уже успели внушить, что она единственная и неповторимая. Сделали эгоистом и бросили в большой мир. И если справишься, то всплывёшь. Нет - так сломаешься, озлобишься и будешь милиционером над пьяницами в вытрезвителе измываться. Да, повезло „Змеёнышу“, что родители его не любили и воспитанием его не занимались.

Справедливости ради должен сказать, что не всё было мрачно в нашей школьной жизни. Мы росли и развивались, избавляясь от своей детской жестокости. Многие мои одноклассники чувствовали себя в школе, как рыба в воде. В основном это были те, кто кучковался. В группе им было и весело, и безопасно. Одиночки, завидуя, пытались примкнуть к ним. Были и такие, которым хватало одного друга или подруги. Были и такие, как я. Не знаю почему, но у меня за все школьные годы не было ни одного настоящего друга. Наверное, я был слишком серьёзен или скучен, но после первых двух-трёх недель мои друзья теряли ко мне интерес и примыкали к кому-нибудь другому.

В пятом классе к нам пришёл новичок, и его посадили со мной рядом, так как это было единственное свободное место в классе. Может это был мой шанс, и сдружись я с ним, моя дальнейшая школьная жизнь потекла бы совсем по-другому. Но я надел на нос своё лицо-замок, чему научился у своей матери, и никак не реагировал на его присутствие. Новичок оказался очень общительным и уже в первую

неделю сделался любимчиком девчонок, а позже и всего класса и даже учителей.

В его характере была какая-то необъяснимая лёгкость, как и в его движениях и в отношениях с людьми. С этой же самой лёгкостью он бросал остроумные реплики, и все их подхватывали, вмешивался в ход урока, и учителя не гневались, что их перебивают. Он принадлежал к типу людей, которым обаяние заменяет ум, трудолюбие и порядочность. Ему всё удавалось и все прощалось. Все его выходки были лишь милые шутки, за которые он, не задумываясь, мог попросить прощения и тут же обо всём забыть. Поверхностный, но не злой, не стоило обижаться.

Уже в первую неделю своего пребывания в нашем классе он начал изводить меня своими шутками и дурацкими интрижками. Он дал мне кличку „Мопс“, намекая на мои пухлые щёки и широко расставленные глаза, и все её подхватили. Моим ответом было молчание. Потом он стал обменивать своё место рядом со мной на разные безделушки, пользующиеся спросом у тогдашних школьников: переводные картинки, иллюстрации из зарубежных автомобильных журналов и жевательные резинки. Но даже за цветную фотографию полуголой девицы никто не соглашался сесть за мою парту. Мой сосед не принимал это близко к сердцу, он сделал из этого своё повседневное развлечение. Но если кто-то отсутствовал, он тут же пересаживался за другую парту.

Изводить меня стало вскоре неинтересно, я никак не

реагировал на его подлости и даже не удосуживал его взглядом. Ни обиды, ни злости, ни презрения нельзя было прочитать на моём лице. Дома, стоя перед зеркалом, я разглядывал эту физиономию „мопса“ и примерял на неё различные выражения, комлексовал, страдал, ненавидел.

Учителя, как правило, не вмешивались в пустяшные конфликты учеников. Им хватало своих дрязг, перепалок между собой, группировками и руководством, о которых и до нас доходили иногда слухи. За все годы в школе ни один, вернее, ни одна (ведь это были за редким исключением женщины) из учителей не обратила на меня своего мудрого педагогического взора и не задумалась над странностями моего поведения. Мои характеристики, которые выдавались при переходе из класса в класс были похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Если перевести педагогические формулировки на нормальный язык, то выходило, что способности у меня выше среднего, но я очень пассивен, одарён, но ленив. Поведение удовлетворительное, но в жизни коллектива не принимаю почти никакого участия, но и не конфликтую. Положительным качеством, которое необходимо было отыскать в каждом ученике, чтобы обласкать родителей и прослыть объективным, отмечалась моя начитанность и любовь к сочинениям на свободную тему.

Вот если бы ученикам поручалось составлять характеристики своих учителей, они открыли бы во мне мой самый главный талант - талант постороннего наблюдателя, и многое бы о себе узнали.

На каждого я собирал досье, знал их сильные и слабые стороны и изучал манеру проведения уроков, контрольных, систематику опроса, никогда не делясь своими знаниями с одноклассниками. Мне просто доставляло удовольствие размышлять над странностями человеческого характера, угадывать мотивы их поведения, предугадывать реакцию на те или иные выходки наших классных клоунов. В моей однообразной школьной жизни это было часто единственным развлечением. Учителя, которые менялись у нас, как перчатки, давали превосходный материал для этого.

Многое я знал из рассказов матери, которая делилась с отцом последними новостями из школьной жизни. В каждой школе у неё были знакомые по университету или бывшие коллеги. Своим привилегированным положением сына учителя я мог бы наслаждаться, если бы кого-то интересовало моё мнение. Не имея друзей, я оставлял всю информацию при себе. Назидания матери: „Не смей ничего выносить из дома!“ - были излишними.

Наш класс считался тяжёлым. Тридцать пять учеников подросткового возраста, не признающие авторитетов и разумных доводов, - одно это уже коечего стоило. Да ещё классное руководство, постоянные шпильки очень властного директора и завучей, политзанятия, педсоветы и методические совещания, проводимые в свободное от уроков время, самообразование и подготовка к урокам, открытые уроки и массовые мероприятия - наша школа считалась образцово-показательной - делали

за два-три года из наших учителей неврастеников с замашками полицейских. Время от времени в школе появлялась молоденькая учительница, одержимая любовью к детям, обожающая свой предмет, „сеящая разумное, доброе, вечное“. Но зависть коллег, разговоры на тему: „Дешёвый авторитет у детей зарабатывает“, часовые нагрузки и стресс делали своё дело, и учительница или уходила, или ассимилировалась в той среде, которая не терпела выскочек.

Класс, который не разделяли на отдельные индивидуумы, стал неуправляемым. Нас сквозь зубы или в порыве нервного срыва обзывали идиотами или держали в страхе, запугивая двойками. „Вам просто не повезло. Неудачный набор“, - говорили классные руководители, обычно новички в школе, которые отбывали у нас по году наказание за то, что выбрали себе эту профессию, не послушав родителей.

Впрочем, однажды я чуть было не засомневался в своих убеждениях на счёт учителей. В середине учебного года к нам пришла новая учительница, чтобы подменить якобы неожиданно заболевшую географичку. Стройная, большеглазая, с короткой модной стрижкой, одетая в джинсы и свитерок, который тогда почему-то назывался водолазкой, она зашла в класс энергичной походкой и обвела нас задорным взглядом. Класс притих, разглядывая новенькую.

Надо сказать, что брюки разрешалось носить только учительнице физкультуры. Наверное, предполагалось, что разглядывание округлостей женского

педагогического персонала отвлекает детей от учебного процесса. Сами же ученики одеты были в мрачного цвета школьную форму, что не мешало сформироваться нравам, когда по одёжке и встречают, и провожают. С появлением джинс, крассовок и прочего импортного товара мнение это уже невозможно было истребить из голов моих сверстников никаким идеологическим воспитанием. Наглядная агитация была сильнее.

Шок, произведённый появлением перед нами модно одетой, красивой женщины, у нас прошёл, и посыпались реплики смельчаков, которыми проверялась нервная система каждого начинающего учителя. Когда голоса всё-таки смолкли, новенькая сказала:

- Меня зовут Галина Константиновна. Я буду преподавать у вас географию до конца учебного года. А как тебя зовут? - обратилась она ко мне, так как я сидел за первой партой.

- Мопс, - выкрикнул кто-то сзади и все засмеялись.

Галина Константиновна не одёрнула остряка, но и не засмеялась, настояв на том, чтобы я назвал своё имя.

- Валерий, Валерий Кадуркин, - произнёс я, ненавидя в этот момент свою нелепую фамилию, стараясь сохранить спокойствие и не глядя ей в глаза. После того, как каждый из нас назвал себя, мы написали свои имена на разноцветных карточках, розданных ею, и смастерив из них маленькие палатки, установили их на уголках своих парт. Это была мелочь, но она подействовала. Нас вызывали

не по журналу, а непосредственно общаясь с нами. Классный журнал, в котором уже стояли разнообразные оценки, характеризующие нас, остался до конца урока закрытым.

Новенькую полюбили. Она была полной противоположностью нашей бывшей географички, которая была слишком принципиальна, и позволяла себе роскошь ставить оценки по заслугам. Даже два бала у неё нужно было заработать. Много лет проработав в школе, она отлично знала свой предмет, экспериментировала, выдумывала всякие методические новшества и формы опроса. Но засыпав нас двойками и тройками, на которые многие болезненно реагировали, она отбила у нас интерес к географии и к заочным экскурсиям на далёкие континенты и таинственные острова. Из-за неё страдал план успеваемости во всей школе, и она подвергалась нападкам классных руководителей, директора и, конечно же, учеников. Злорадство, вызванное болезнью географички, сменилось облегчением: наконец-то её выжили. А вскоре её совсем забыли.

Педагогические способности новой нас, конечно, не интересовали. Каждому хотелось ей понравиться, услышать её похвалу, просто поговорить. После уроков всегда оставались несколько добровольцев, чтобы выполнять её поручения: поливать цветы, подметать, оттирать резинкой бранные слова с парт, просто маячить у неё перед глазами, напрашиваясь на комплименты, которые она с щедростью раздавала. Девочкам она говорила, какие у них выразительные глаза или шикарные волосы. Дурнушки

начинали потихоньку её недолюбливать, но не смели нарушить эйфорического хора обожательниц. Мальчишкам она строила глазки, и те вдруг перестали ругаться бранными словами, плевать в окно через подоконник и бросаться мокрыми и сухими меловыми тряпками, которые вечно валялись у нас под доской и в каждом углу.

Уроки географии проходили теперь совсем иначе. Галина Константиновна не требовала контурных карт, не спрашивала по учебнику и не отмечала отсутствующих, которых, как правило, и не было. Она заходила в класс, садилась на подоконник и, обращаясь к кому-нибудь из класса, часто ко мне (я полюбил своё место в первом ряду за первой партой), как бы между прочим, начинала говорить:

- Когда я в последний раз была в Австралии... - и начинался увлекательный рассказ о городах и пустынях, о пещерах и гротах, об океанах и морях, о тайфунах и землетрясениях. Никаких проблем с дисциплиной. Класс не дышал, иногда оживлялся, когда Галина Константиновна рассказывала интересные или пикантные подробности из жизни современных знаменитостей, актёров и рок-звёзд. Она приносила на урок вырезки из зарубежных журналов и газет, фотографии, на которых были живые иностранцы в разорванных джинсах и разрисованных футболках, с самыми причудливыми причёсками, разъезжающие в настоящих импортных автомобилях. Каждый урок был сюрпризом. Никто не задавался вопросом, была ли она действительно в Австралии или в Америке. Хотелось ей верить. А

когда по школе прошёл слух, что новенькая работала стюардессой, потом вышла замуж за лётчика и теперь учится заочно в пединституте, то поверили и самые отчаянные скептики: она не сочиняет, а рассказывает о том, что сама видела.

Восторгам пришёл конец, когда в конце четверти в журнале появились совершенно случайные и разнообразные оценки, чтобы не бросилось в глаза, что они поставлены накануне и не за ответы, а в силу необходимости. И начались выяснения, претензии и слёзы хорошистов и отличников, которым был испорчен табель успеваемости. Многие, правда, остались довольны своими незаслуженными пятёрками и четвёрками, жалели, что Галина Константиновна со скандалом вылетела. Говорили, что она ждёт ребёнка и больше не собирается работать в школе.

Что же касается меня, я пережил в это время настоящий удар судьбы и познал страсти, о которых никто бы не догадался, глядя на толстоватого, неповоротливого и замкнутого троечника-пятиклассника. Галина Константиновна, как и все другие учителя, меня почти не замечала. Я знал, что неинтересен, ничтожен, некрасив в её глазах, как и то, что это не изменится. Выкинуть какой-нибудь финт, чтобы привлечь её внимание, мне не позволяла гордость и та роль равнодушного созерцателя, которую я играл более или менее добровольно. Я „Мопс“, а в сущности пустое место, и так будет всегда, для всех них, которых я презирал, видя насквозь все их уловки, примитивные попытки привлечь к себе внимание географички, чтобы стать её

любимчиками. Я был выше этого, сложнее и умнее каждого из них. Я сам бы мог часами рассказывать ей о тайфунах и землетрясениях. Единственный в классе, кто мог бы говорить с ней на равных обо всём, что я узнал из книг, которые натащила в дом мать и которые занимали моё время в этом детстве без друзей, баловства и игр. Только бы она слушала, слушала, слушала.

Я мог бы стать её другом. Я достоен её внимания. В моих мечтах я воображал себя уже не гадким утёнком, а стройным, красивым мужчиной, сильно смахивающим на того иностранца, с фотографии, и рисовал себе случайные встречи с ней на улице. Когда она, тридцатилетняя, с моей тогдашней точки зрения, стареющая, разочарованная, сначала не узнает меня, а потом ведёт к себе домой, чтобы рассказать историю своей неудавшейся жизни, без настоящих друзей, без людей, глубоко чувствующих, понимающих её, а потом... Боже, чего только не приходит в голову плюгавенькому пятикласснику, которого все считают ещё ребёнком.

Я изводил себя этими вымышленными картинами. Силу воображения я унаследовал, пожалуй, от своей матери. Но если она удовлетворяла таким образом свою потребность любить, то в моей душе закипали слёзы ненависти. Реальность была сильнее и висела надо мной, как домоклов меч, и пробуждение было горьким.

Когда директриса допрашивала нас по-одному в своём кабинете, чем мы занимались на уроках географии, я очень убедительно рассказал, что и как

было: ни опросов, ни домашних заданий, ни оценок, ни объяснений нового материала. Директриса осталась мной довольна. Я собой тоже.

Если бы моя мать угадала, что происходило со мной в эти дни, она бы всю свою энергию потратила на спасение моей души от ненависти, которая разъедала мою малолетнюю душу. Но я был замкнут, внешне спокоен, стыдился своих чувств и слабостей, а они с отцом переживали очередную драму. Меня тошнило уже от их ссор, взаимных упрёков, оскорблений и разбирательств, которые ни к чему не приводили, а только усугубляли конфликты. В словах правды нет. Я научился молчать.

Кстати, оценки, чтобы не раздувать скандала, оставили в силе, и у меня в табеле успеваемости появилась одна-единственная пятёрка, конечно же, незаслуженная.

Глава 3 Отец

Когда мне было пятнадцать лет, неожиданно умер мой отец. От элементарной простуды, перешедшей в воспаление лёгких. В наше время никто так просто не умирает от воспаления лёгких. Я думаю, он просто сбежал от тех сложностей жизни, которые выдумывала для него мать, чтобы приукрасить его бесцельное, с её точки зрения, безалаберное существование.

Незадолго до болезни он как-то притих, стух, задумался. После очередного трёхмесячного отсутствия он уже полгода жил дома, нашёл себе какую-то работёнку, вечерами сидел у телевизора и даже делал какие-то попытки меня воспитывать и делиться со мной житейскими мудростями.

Однажды за обедом отец расфилософствовался о несправедливости судьбы и о том, что она не подарила ему счастливого шанса. Он, якобы, чувствует в себе силы нерастраченные, но текучка так засасывает, что на главное сил не остаётся. Мать подхватила эту мысль, используя момент для воспитательной работы.

- Важнее всего знать, в чём заключается это „главное“, а шанс стучится в твою дверь чаще, чем ты думаешь, только тебя никогда нет дома, - процитировала она кого-то из великих, намекая одновременно на частое отсутствие отца. Разговор перешёл на личности, и я поспешно скрылся в своей комнате, не желая вникать в их интеллектуально-

бытовые дрязги, которые обычно заканчивались многодневным молчанием обеих сторон.

Присутствие отца меняло в доме привычный распорядок дня. Начиналась игра в „нормальную семью“, когда все собирались за обеденным столом и вели интеллектуальные беседы, распределяли обязанности, планировали покупки и семейные торжества. В доме часто бывали гости, так как к знакомым матери прибавлялись ещё соскучившиеся по нему родственники отца. По воскресеньям, выдумывая себе какие-то оправдания, поручения и обязательства, он уходил из дома, чтобы навестить кого-нибудь из своих знакомых, одиноких холостяков, где выпивал надурняк, и возвращался поздно. Думаю, что одинокие холостяки тяготились присутствием безденежного, но падкого на чужие поллитра дружка, но всё-таки наливали, подозревая, что жизнь женатого человека - штука нелёгкая и скрутит кого захочешь, и прощали ему занудные разговоры.

Мать, пытаясь предотвратить подобные вылазки отца, часто навязывала ему меня, назидая вдогонку: „Ты ведь не станешь пить в присутствии ребёнка“. Безуспешно. Так я стал молчаливым свидетелем полупьяных мужских разговоров разочарованных сорокалетних и старше. К счастью, мать вскоре запретила наши совместные „культпоходы“, опасаясь за мою детскую ранимую душу, и у меня одной проблемой стало меньше.

Дело в том, что я не знал и не понимал своего отца, не знал, о чём с ним говорить, тяготился его и своим молчанием, находя в этом что-то противоестес-

твенное. Я не мог забыть, каким он бывал в пылу гнева: глаза навыкате, побелевший от злости, он швырял по сторонам вещи, выкрикивал отвратительным брюзжавым и злорадным голосом отборные, даже изысканные по стилю ругательста, найдя самое больное место матери.

Я боялся отца, и потому его смерть не отозвалась во мне ни болью, ни запоздалыми угрызениями совести. Ведь я часто в глубине души желал себе, чтобы его не стало.

На второй день после похорон я почувствовал такую лёгкость и свободу, о которой и не подозревал. Я думал, теперь всё будет иначе. Но изменилось немногое. Мать ушла в своё горе, расслабилась, впала в настоящую, а не вымышленную депрессию. Но через неделю она снова вышла на работу. На душевные переживания теперь оставалось не так уж много времени. Вечерами приходили её подруги, чтобы принести соболезнование, развеять, поддержать. И мать оживлялась, так как снова была интересна окружающим. Рассказывала, что многое в жизни предчувствовала, знала, что останется вдовой, предав вариант с любовницей, толковала свои сны, стесняясь признаться, что это были сны наяву. Да и вряд ли бы кто понял, а то и посоветовали бы обратиться к психиатру. Нормальные люди снов наяву не видят.

Я из своей комнаты прислушивался к разговорам, не мог оторваться - так самозабвенно рассказывала мать свою историю, немного приукрашивая и добавляя экстравагантные подробности, и веря, что

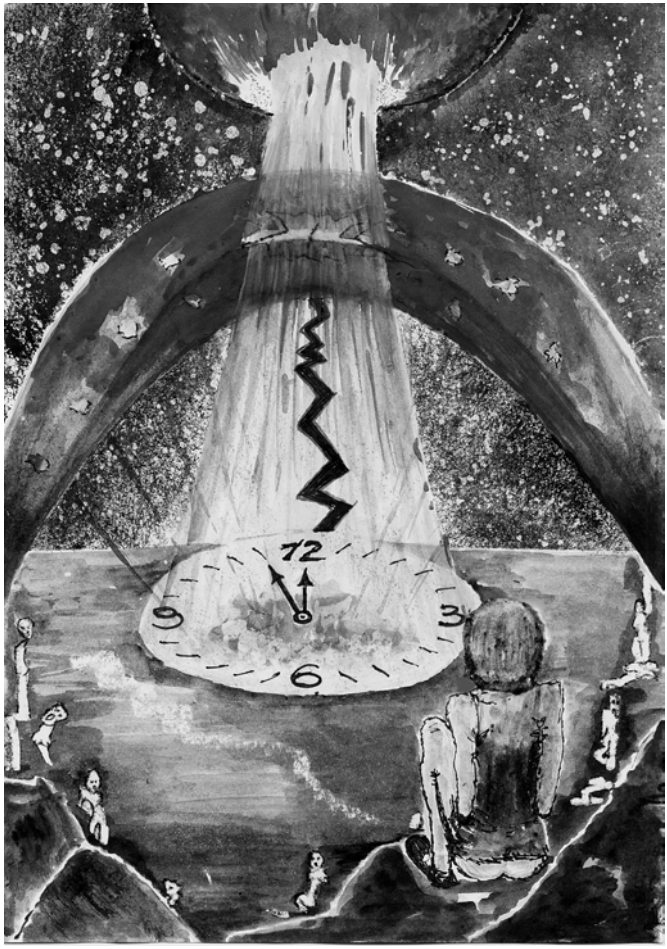
всё это правда, и всплакивая вполне искренне. А я ревновал, я злорадствовал по поводу его смерти и в душе негодовал на мать: „Истеричка, дура, зачем она выдумывает себе несуществующую судьбу, оплакивает потерянную семью, которой не было, любит эту свою муку, любит, да, наслаждается своим горем, иначе не блестели бы таким огнём её глаза. Любит этот блеф, мираж, иллюзию, которую называет своей жизнью, и верит, верит в неё!”

И вдруг я ясно осознал, что хочу умереть. Я хотел ей сделать это одолжение, хотел, чтобы она сравнила и наконец поняла, кто ей дороже. Я ревновал к мертвецу, ненавидел его, желал ему ещё одной смерти, забыв, что он уже под землёй - всё за то, что он схитрил, ушёл, а я здесь, в этом доме, в этом мире, один.

Глава 4 Пробуждение

Кто сказал, что время лечит? Оно калечит наши лица, наши души, наши жизни. С каждым новым поворотом судьбы оно прибавляет нам морщин, равнодушия и эгоизма. На протяжении жизни люди совершают одни и те же ошибки, старея, впадают в маразм. Мудрость зрелого человека заключается в том, что он перестаёт задавать себе вопрос о смысле существования, осознав наконец свою беспричинность. Счастлив тот, кто способен на бездумное прозябание или научился ставить себе маленькие цели и радоваться сегодняшнему дню. Я этого не умел.

Самой большой пыткой для меня было ощущение времени. У меня не было начала, настоящее продолжалось вечно, а будущее не имело реальных очертаний. Уловить момент, когда прошлое переходит в настоящее, а настоящее в будущее - было одним из занятий в начале моего пробуждения. Я хотел себя осознать во времени и пространстве, воображал себя точкой, движущейся по циферблату, или человечком, сидящем на кончике монотонно передвигающейся секундной стрелки часов лицом к цифрам. Человечек оставался в настоящем, каких бы усилий, представить себе этот переход абстрактно или образно, я не прилагал. Прошлое и будущее сливались за его спиной в одно целое, 360 градусов, соприкасались где-то. Передвигаясь вместе со стрелкой навстречу будущему, я приближался тем самым и к прошлому. Циферблат разрастался до космических



Я хотел себя осознать во времени и пространстве

размеров. Я закрывал глаза и ощущал бесконечность, но провести грань между тремя временными пространствами мне не удавалось.

Те, кто, повзрослев, перестают задавать себе никчёмные вопросы, и те, кто на такие вопросы никогда не натыкались, наверное, не поймут, почему это было так важно для меня. Но я не знал покоя, пока проблема оставалась неразрешённой.

Или же я был увлечён погоней за горизонтом. Я приближаюсь к извилистой линии и, кажется, вот-вот её настигну, надо только схитрить, притвориться равнодушным, сделать неожиданный рывок, прибавить скорость и побежать по ней, резко изменив направление на 90 градусов. Но в то же самое мгновение, когда мне должно было это удасться, цель отодвигалась от меня на первоначальное расстояние, и дуга, по которой я продвигался вперёд, как канатоходец, балансируя руками и стараясь удержать равновесие, снова упиралась в новый недосягаемый горизонт. И чем быстрее я бежал, тем стремительнее удалялась от меня точка пересечения этой дуги с горизонтом.

Подростком я уже страдал бессонницей и часами смотрел на звёздное небо, которое меня магически притягивало. Если вообразить себя планетой и сжаться мысленно до размеров бусинки, бисера, атома, то нижний и верхний купола сольются и ты окажешься в центре мироздания, станешь его началом. Но стоит мысленно перенестись в пространстве, как вся упорядоченная картина разрушится, сместится, начало оторвётся от середины, пере-

станет им быть. Нет ничего уловимого, постоянного, за что можно было ухватиться. Все вокруг движется, изменяется, сливается и пересекается. Каждый мечется в своём времени и пространстве, без начала и конца, без будущего и прошлого. Как тут не заблудиться, не сойти с ума в этом хаосе миров, с одним из миллиардов эгоцентриков в каждой их середине.

Утомлённый, я засыпал и просыпался с чувством неудовлетворённости, шёл в школу, чтобы после шести - семи безразмерных часов снова остаться одному и продолжить свои бессмысленные гонки во сне и наяву.

Меня не увлекало это занятие, оно выматывало мои силы и довлело надо мной, как невыполненное обязательство, как навязчивая идея. Я тяготился этой гонкой преследования, подозревая в себе какой-то изъян, болезнь, манию, и пытался отвлечься, брал в руки книгу, но очень скоро замечал, что читают только мои глаза, а мозг снова находится во власти этого чувства, которое я, не умея найти другое название, называл чувством середины, состоящей из безначальности и бесконечности. Я физически ощущал, что пришел ниоткуда и уйду в никуда. Память моих генов пыталась рассказать мне что-то о времени до моего зачатия, рождения и пробуждения. И о смерти. Нужно было только сосредоточиться, уловить и сформулировать мысль, вернее, выловить её из хаоса своих ощущений. Безуспешно.

Время не имело определённого ритма: одна минута

тянулась, как час, а час тяжёлого сна казался вечностью, столько всего в него вмещалось. Параллельно шла другая жизнь, с разговорами за завтраком и ужином, с уроками и наблюдениями за людьми, которые меня окружали и которых я пытался изучить, как пытается натуралист-любитель понять смысл передвижения в суетливом муравейнике. Тогда ещё пытался понять, как, например, то, почему люди боятся смерти.

Помню, как отец за несколько дней до своей смерти подозвал меня к себе и начал какой-то туманный, напоминающий бред разговор о смысле жизни. Над ним тоже довлели стереотипы, и он, очевидно, решил поделиться со мной открывшейся ему напоследок истиной, наставить, завещать или наверстать упущенное в моём воспитании, чтобы с чувством выполненного долга покинуть этот свет. Впрочем, о выполненном долге не могло быть и речи: дерева не посадил, дома не построил, сына своего не знал и оставил после себя одни долги.

Не без патетики в голосе он начал говорить о том, как мало человеку отпущено времени и как важно не совершить роковой ошибки, за которую будешь расплачиваться всю жизнь. (Имел ли он в виду нас с матерью?) Он признался, что так и не мог никогда избавиться от страха смерти, от чувства, что жизнь уходит из него по частичке каждую секунду, а он не успевает сделать что-то очень важное. Этот страх и гнал его на поиски новых впечатлений: он жадно глотал книги, заводил знакомства, менял работу и увлечения, но чувство паники не давало сосредо-

точиться. Ходики тикали, а пробуждение означало смерть.

Я даже немного посочувствовал ему, вспомнив, как однажды на уроке математики испытал нечто подобное. Мы писали годовую контрольную работу. С самого начала что-то не заладилось: просидев слишком долго над первым заданием, я потерял ощущение времени, мне стало казаться, что каждую минуту может прозвенеть звонок. Я хватался то за одно, то за другое задание, но не мог сосредоточиться и не довёл ни одного из них до конца. Урок кончился, но катастрофы не произошло. Как всегда я поплёлся домой, а через неделю узнал, что в следующий класс меня всё-таки перевели - с троечкой по математике. Школа боролась за стопроцентную успеваемость.

Похоже, что мой отец так и не понял, что временных границ не существует, как и не существует его будильника. Потому что в тот момент, когда он зазвенит, нас уже не будет, а значит некому будет констатировать этот факт.

Умирающий удивился бы, если бы догадался, что его пятнадцатилетний сын уже прошёл ту стадию в своём развитии, когда размышления о смерти внушают страх. Учитывая обстоятельства и по приобретённой привычке не бросать слова на ветер, я не показал ему своего превосходства, проявил, так сказать, милосердие.

Меня же больше пугала жизнь. Неужели я должен прожить отпущенное мне с этим ощущением свой

безначальности, бесконечности и беспричинности? Кому было нужно, чтобы я родился и стал таким, какой я есть, и не заметил, как умер? Или это эксперимент, в котором я, существо без иллюзий, должен кому-то что-то продемонстрировать? Почему меня лишили права на иллюзию, а значит, права на надежду и разочарование, пробы и ошибки, права на желание жить? Кому пришло в голову сделать из меня этого постороннего наблюдателя, который знает, к чему приведёт тот или иной поворот событий, та или иная их связь.

Так я думал о себе, не подозревая, какую судьбу выдумали мне эти бестелесные экспериментаторы. Ни мои психологические способности, ни больное воображение матери, запрятанное в коричневую тетрадь, не могли нарисовать мне моё будущее хотя бы отдалённо. Проучить захотели? Наказать за самонадеянность, всезнайство, гордыню, заносчивость? Видно, самых отъявленных гордецов бьют ещё больнее, чтобы поверили, чтобы поняли.

Своё начало я не помнил, а настоящее отвлекало от мыслей о будущем и преподносило иногда сюрпризы. Так у меня открылся, неожиданно для всех и для меня самого, ремесленнический талант. В девятом классе у нас начались занятия в учебно-производственном комбинате, сокращённо УПК. Я с удовольствием работал на слесарных и токарных станках, водил старенький разбитый грузовичок и даже добровольно подметал опилки в мастерской, вызывая всеобщий хор насмешек.

После уроков ребята не разбегались по домам, а

болтались в школьном дворе или же собирались „на пеньках“, как называлось место встречи в школьном саду, в одном из уголков которого было спилено несколько старых, засохших деревьев. Там, сокрывшись от бдительного ока учителей, попивали, покуривали и играли в карты. Если кто-нибудь из учителей болел и у нас было окно, „на пеньках“ собирался почти весь класс.

Моего присутствия там не замечали, и я слушал наивные рассказы своих одноклассников о том, как они вечерами, выражаясь на тогдашнем жаргоне, „гудели, балдели, тащились, снимали“ и тому подобное, рассказы, над которыми я мысленно смеялся и в которые никто, кроме самих рассказчиков не верил. Но это никого не смущало - главное было весело, непринуждённо, а жизнь кипела и распределяла заново роли. Девчонки, ещё вчера заплетавшие косички, распускали волосы, укорачивали форменные платьица и носили импортные сапожки на каблуках, удивляя всех своим внезапным перевоплощением. Парни, которым повезло уже в пятнадцать лет набрать минимум метр шестьдесят пять росту, смазливые и „прикинутые“, что означало наличие в их гардеробе модной одёжки, тоже пользовались успехом. Появлялись новые лидеры, которых выбирали не по оценкам и общественной работе в комсомольской организации, а совсем по другим качествам - умению вызвать интерес окружающих. Каким образом - было не столь уж важно. Впрочем, отличников и хорошистов, если они не задавались и давали списывать на контрольных, тоже не обижали.

За мной прочно закрепилась репутация молчуна, серенькой личности, что меня начинало раздражать. Я представил себе, какой ажиотаж произвело бы моё внезапно изменившееся поведение „на пеньках“, и рисовал в воображении различные его ньюансы. То я представлял себя развязным и разбитным парнем-рубахой, похваляющимся головной болью с похмелья, то расчетливым интриганом, бросающим время от времени разоблачающие фразы, уничтожающие репутацию новоявленных лидеров, делая их всеобщим посмешищем, а меня проклюнувшейся, всё это время недооцененной личностью. Впрочем, вариантов было много.

В какой-то момент я поймал себя на мысли, что эти воображаемые сценки напоминают мне страницы из дневника матери, и задумался. Все эти годы, потешаясь в тайне над странностями её характера, её сентиментальностью и наивностью, я превратился в жалкое её подобие, начал, незаметно для себя, подражать ей, не научившись, в отличие от неё, общаться с реальными людьми, переключаться в эту, действительную жизнь. Этого мне только не доставало, чтобы я превратился в такую же духовную развалину! Мне стало ясно, что не я выбрал себе эту роль молчаливого наблюдателя, она была мне навязана в силу характера, комплексов, стечением обстоятельств или воспитанием. Я пренебрёг окружающими, а они этого и не заметили, живут себе и радуются, и считают меня нулём, пустым местом. Болезненное самолюбие проснулось во мне и побудило к действию. Я решил выйти из своего подполья. А вскоре представился и подходяший случай.

В начале ноября „на пеньках“ как-то зашел разговор о встрече Нового года. Кто, где и с кем. Кто-то предложил встретить его всем вместе. Организовать это не стоило большого труда: сразу же нашлась пустая квартира, девчонки обещали приготовить что-нибудь поесть, парни - организовать выпивку. Составили список и в тайне от родителей и учителей начали собирать деньги, по три рубля с носа. В классе уже было несколько парочек, остальные обещали привести друга или подружку со стороны. Те, у кого таковых не было, ссылались на другие планы, чтобы не приходить в одиночестве и не портить себе репутацию.

То, что я сдал деньги в общую кассу, причём на двоих, вызвало, как я и ожидал, в классе сенсацию. Сенька Гуньков, или просто Сенчик, наш классный клоун, выкрикнул с последней парты:

- Мопс приведёт мопсиху, - и закатился счастливым смехом, но, взглянув на меня, осёкся и побледнел от страха.

Наверное, моё лицо было действительно страшным. Я почувствовал, как оно вдруг опустилось, а глаза непроизвольно полезли из орбит. В таком состоянии я, пожалуй, ещё сильнее походил на мопса, но никто уже не смеялся и не острил. Не отдавая себе отчёта в том, что со мной происходит, что делают мои руки и ноги, я двинулся в сторону Сенчика, схватил его за грудки и, преодолевая спазм в горле, прохрипел:

- Никто не смеет называть меня мопсом. Никто больше не посмеет называть меня мопсом.

Ожидая удара, он напрягся, отвёл руки назад, как будто хотел упереться о стенку, но я рванул его вниз, и он рухнул передо мной на колени, нелепый, долговязый и растерянный. Кто-то несмело хихикнул, остальные молчали, ошалело глядя то на Сенчика, всё ещё стоящего на коленях, то на меня, удаляющегося из класса.

На следующий день никто не упоминал о случившемся. Сенчик избегал меня в коридоре и отвёл глаза, когда я посмотрел в его сторону. И хотя я вчера на минуту потерял над собой контроль и выпал из своей роли, я не был разочарован. Пусть это было незапланированным действием, но это было действие, и, как ни странно, мне вдруг стало легко и просто, как будто я избавился от давно давившего меня груза. Впервые за много лет я вошёл в этот класс с чувством победителя и встретил заинтересованные взгляды своих одноклассников.

С этого момента всё переменилось: со мной заговаривали и даже заискивали, приглашали на дни рождения и импровизированные, спровоцированные внезапным отсутствием родителей вечеринки. Я стал появляться на школьных и городских дискотеках, не танцуя, но разглядывая скачущую толпу, впрочем, не без интереса. Мне ведь предстояло за короткое время найти подругу, которая согласилась бы пойти со мной на новогодний вечер. А это было непросто.

Игнорируя медленные танцы и стараясь сохранить непринуждённость, наши парни подпирали стенки

актового зала, или стояли группками, небрежно перебрасывались фразами или рассказывали похабные анекдоты, искоса поглядывали на танцующих парами девчонок. Пригласить или разбить пару на виду у всей школы и дежурных учителей хватало духу у немногих, к числу которых я не относился. В 70-е годы наша провинциальная молодёжь была ещё сравнительно наивна и неуклюжа. Но диско танцевали почти все, кто хоть немного умел дрыгать руками и ногами. К концу вечера неловкость исчезала, все немного оживлялись, танцующие не расходились по сторонам зала, а оставались стоять в кругу, ожидая следующего танца. Разгоряченные, выходили на школьное крыльцо, чтобы покурить, потихоньку от учителей выпить, выяснить отношения или позаигрывать с девчонками.

Я тоже выходил покурить, но в общие разговоры не вступал, то ли по привычке, то ли от скуки. После танцев группками разбредались по домам, провожая девчонок и пугая запоздалых прохожих громким хохотом и воинственным видом. Эта групповая жизнь была для меня всё ещё непривычной. Всё всегда происходило на виду у всех и было на следующий день предметом обсуждения. Как в такой ситуации можно было подступиться к одной из одноклассниц, не ударив в грязь лицом? Получить от ворот поворот не входило в мои планы. А это вполне могло бы произойти. Слишком долго я был пустым местом или предметом насмешек. Красавчиком или „прикинутым“ мне не позволила быть природа и моя принципиальная мать, которая никогда не унизилась бы до того, чтобы доставать

импортные тряпки.

Вот если бы привести „чужую“, из другой школы - это означало бы, что моя личная жизнь протекала где-то на стороне, что меня недооценили, не разглядели. Я всё просчитал и решил одним ударом отомстить им за все мои прошлые обиды и унижения. Теперь мы будем играть в другие игры, и условия игры буду диктовать я, а пешки будут прыгать с клетки на клетку по моей указке. Оставалось найти королеву.

Глава 5 Аля

Я ломал себе голову: как, где и за такой короткий срок без наивных ухаживаний, не открывая своих планов, найти себе девушку, к тому же красивую, которая поверила бы мне, вела бы себя естественно, искренне, так, чтобы её зависимость от меня и привязанность бросались бы в глаза окружающим. При моём образе жизни и ограниченном круге знакомств это представляло огромную трудность.

Но я не зря с тринадцати лет читал книги с классичесими сюжетами, в которых всё существенное, типическое и характерное было подчёркнуто рукой матери с непременным обобщением и комментариями на полях. Оставалось выбрать между философией Лужина и Печорина и найти объект. Я даже перечитал оба романа, как практическое руководство к действию. В своём воображении я рисовал себе будущую подругу: она должна быть не примитивна, иначе мне с ней трудно будет найти общий язык, но и не очень умна, чтобы не разгадала моих планов, мечтательна и одинока, красива, но с каким-нибудь внутренним изъяном, незаметным для окружающих, изъяном, который бы оторвал её от сверстников. Одинокая, она будет благодарна мне за понимание и дружбу. Мечтательная, она клюнет на мои космические бредни. Я ничуть не сомневался в том, что справлюсь со своей лужинско-печоринской ролью, как и в том, что понимаю женскую натуру.

Каждая из них мечтает занять главное место в душе

какого-нибудь мужчины. Их самолюбию необходимо постоянно давать пищу, говорить красивые слова, клясться, обожать, восхищаться. Поступки могут противоречить словам, тем даже и лучше. Им нужны страсти, сомнения и разочарования с последующим примирением и счастливой развязкой. Но упаси боже, самому поверить в то, что одна из них - цель и смысл существования, последняя гавань - этот идиот сразу же потеряет для неё всякий интерес. Отталкивая, ты её притягиваешь, потому что ничего нет сильнее уязвлённого самолюбия нелюбимой женщины. Она простит и сделает всё, чтобы вернуть себе ускользающий из рук объект, доказать себе и окружающим, что нужна, любима, значима. Другие же, играющие в независимость, или врут, или не умеют приспосабливаться, или просто дуры, которые тащут всё на себе и ещё гордятся этим. Впрочем, можно было поискать среди тех, кому всё равно с кем и почему, но это лишило бы мой спектакль, который я решил разыграть в новогоднюю ночь, художественного вкуса и стиля.

Я перебирал в памяти всех соседских девчонок, своих кузин и дальних родственниц, но ни одна из них не подходила. Или же они были неинтересны, с заурядной внешностью, или же учились в нашей школе, а значит были в курсе моей ситуации - мопс с репутацией серенькой личности, и вряд ли пошли бы со мной на этот вечер.

И тут мне пришла в голову замечательная идея, поискать свою жертву среди учениц матери. Она как раз преподавала в старших классах и, одержимая

своим преподавательским пылом, даже дома не забывала о проблемах своих подопечных, часто рассказывала мне об их выходках, или читала отрывки из их сочинений, не замечая моей равнодушной реакции - ей нужны были свободные уши. Когда же я вдруг проявил интерес к этим рассказам, остановить её уже было невозможно, а я собирал информацию. Удивительно, но моя мать знала о своих учениках больше, чем о собственном сыне, почти всё, что творилось у них в классе, в семье, в душе. Она была хорошей учительницей. Будучи классным руководителем в десятом классе, она завела дневник наблюдений за учащимися, в котором каждому отводилось несколько страниц и в который она заносила своим красивым мелким почерком различные происшествия, поступки и проступки, неосторожные высказывания своих ничего не подозревающих чад, чтобы в конце года дать им объективную характеристику.

Почитав этот дневник, я легко нашёл то, что искал: „Алина Клочкова - впечатлительная, очень начитанная девочка, немного мечтательная и замкнутая. Любит Чехова, Достоевского и Маяковского, на уроках внимательно слушает, говорит мало, открывается в сочинениях, которые пишет не по плану, а по вдохновению. Высказывает очень оригинальные суждения о человеческой натуре, сложностях общения. Легко ранима, обидчива. Ведёт литературную страничку в школьной газете. Очень исполнительная. Пользуется уважением в классе, но имеет всего одну близкую подругу.“ Не стоило большого труда добраться до её сочинений. Одним словом,

через несколько дней я знал о ней больше, чем надо.

На общей фотографии, где под каждым кружочком с физиономией ученика стояла его фамилия, я увидел свою жертву и сначала немного разочаровался. На первый взгляд Аля могла показаться некрасивой: слишком широкие скулы, тонкие губы с уголками вниз обиженно сжаты, совсем не идущий к лицу нелепо задратый кверху кончик носа, длинная чёлка, почти закрывающая глаза, продолговатые и изогнутые, как у белки. Она сразу мне напомнила затравленного зверька. Может быть, фотография просто неудачна или Аля нефотогенична, а может, если она улыбнётся, то из глаз исчезнет этот дикий блеск, и выражение лица станет задорным. Я так долго смотрел на фотографию, что мне показалось, будто Аля действительно улыбнулась и даже подмигнула мне, как сообщница. Всё шло, как задумано, оставалось найти изъян, слабое место, чтобы привязать её к себе, чтобы доказать ей, как хорошо я её понимаю. А изъян был, иначе не писала бы она такие дурацкие сочинения, из которых так ясно вырисовывалась её „тоска по настоящему“, её желание перекроить мир на свой манер, иначе не выпадала бы она из общей массы порхающих по жизни шестнадцати-семнадцатилетних, не глядела бы на свет с такой обидой из своих бархатных беличьих глаз.

Времени до Нового года оставалось совсем немного, надо было действовать. И снова представился удобный случай. В их школе проводился вечер, подготовку которого поручили моей матери. Каждый

вечер в школе посвящался какому-нибудь выдающемуся событию и начинался с художественной или идейно-политической части. Потом была дискотека, которая заканчивалась в 10 часов, если дежурным учителям удавалось разогнать вошедших в танцевальный азарт только напоследок. Я пообещал матери подъехать к концу вечера к школе, чтобы она не добиралась до дому одна в такую позднюю пору. Мать была удивлена, но потом, тронутая моим вниманием, погладила меня по щеке и признесла торжественно, как и подобает в минуту откровения между матерью и сыном: „Спасибо, сынок. Я всё думаю, что ты ещё ребёнок, а ведь ты уже настоящий мужчина“. Потом в её дневнике я прочёл душещипательные, мне посвящённые строчки:

Как он мне дорог, этот единственный мужчина,
К которому я не потеряла интереса...

Похоже, на своей личной жизни она решила поставить крест и посвятить себя воспитанию подрастающего поколения, к которому я, очевидно, не относился - интерес ко мне проявлялся довольно редко. Она вся ушла в работу, вечерами читала или же следила, не вникая, за действием какого-нибудь телевизионного производственного романа, переживая в то же самое время одну из версий своей воображаемой жизни, возможно, ту самую, в которой она стойко переносит своё вдовье одиночество, посвятив себя воспитанию единственного сына, который в реальности в ней уже не нуждался.

Тот декабрьский день запомнился мне в каждой детали. Я был приятно взволнован, не мог дож-

даться вечера и предчувствовал большие перемены. Впервые я стоял в начале, а не в середине своего пути, а время приобрело ритмичность, благодаря громко тикающему механическому будильнику и ударам моего сердца. Я вышел из дома, прошёл по противно чавкающему снегу до остановки, разглядывая прохожих, стараясь не думать о предстоящем. Безуспешно. В том, что Аля будет на этом вечере, я не сомневался.

Мать успела меня посвятить во все детали литературно-художественной композиции: на сцене будет стоять стол, покрытый старомодной скатертью с бахромой, на столе свечи, рядом старое кресло, освещённое лучом прожектора, а в кресле укутанная в ажурную шаль её любимая ученица Лариса, играющая роль Анастасии Цветаевой, читает отрывки из книги „Воспоминаний“. Женечка сыграет на гитаре романс, а Аля читает стихи, и как она читает! Этот интерес был неподдельный, его подкрепляла гордость состоявшейся учительницы.

По дороге в автобусе я повторял в памяти те фразы, которые должны были заинтриговать романтичную Алю и так глубоко засесть в её голове, чтобы мои усилия не оказались зряшными. Воображение рисовало мне различные варианты наивных любовных сценок, а перед глазами стояло её лицо, с глазами бельчонка, такими грустными и настороженными, как на фотографии.

Помню, что на минуту я засомневался в необходимости своего предприятия. Что и кому я собираюсь доказать? Нужны ли мне все эти Сенчики с их

сомнительным авторитетом? Хочу ли я проводить свои часы досуга „на пеньках“, как равный среди равных, вернее, не равных мне, примитивных болтунов? Не выйти ли на следующей остановке, пересесть во встречный автобус и вернуться домой, чтобы остаться одному, закрыть глаза и снова очутиться в центре окружности, над которой медленно закроются две полусферы, одновременно отодвигаясь от меня в бесконечность, оставляя мне темноту. Открыв глаза, я увидел перед собой людей, которые переговаривались, смеялись, передавали пятаки на билет, толкались, уступали или не уступали друг другу место, просто были, и поехал дальше.

Литературно-художественная композиция уже заканчивалась. В первом ряду актового зала я увидел мать. Она, взволнованная больше своих учеников, держала в руках какие-то листочки, на случай, если новоявленная Цветаева вдруг запнётся и забудет свои собственные воспоминания, делала какие-то знаки старшеклассникам, направляющим лампу на сцену. Зрители с задних рядов потихоньку выходили и начинали собираться в спортзале, где уже установили входившую тогда в моду цвето-музыкальную установку для дискотеки.

Я тоже заволновался: вдруг Аля не останется на танцы, и наше знакомство не состоится. Другого такого случая не будет, не будет и новогодней гулянки с сюрпризом, не будет роли шахматного короля, которая привлекала меня тем сильнее, чем дольше я смотрел на сцену, на Алю, которая декла-

мировала последнее по сценарию, длинное стихотворение Марины Цветаевой. Она стояла на самом краешке сцены, в старомодной длинной юбке и белой блузке, смотрела поверх голов, и прочитав последнюю строфу:

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру.
Послушайте, ещё меня любите,
За то, что я умру. -

опустила глаза. Голос её дрогнул и оборвался, занавес закрылся, раздались аплодисменты. То что со мной происходило в этот момент, совсем мне не нравилось. Не то что я был растроган или поддался настроению цветаевской лирики, но во мне вдруг появилось и росло, подступая к горлу, угрожая удушьем, такое сильное беспокойство, что не было больше сил стоять на одном месте. Захотелось бежать куда глаза глядят, только бы не испытывать этого чувства паники и тошноты в желудке. При всей этой мешанине ощущений и чувств в голове ясно прозвучало произнесённое знакомым мне голосом слово: подонок. Я вздрогнул, когда меня окликнула мать.

- Валера, ты уже давно здесь? Поди сюда, я тебя познакомлю с ребятами.

Я поднялся на сцену, пожимал кому-то руки, по-идиотски улыбался, сжимаясь внутренне под насмешливыми или откровенно-скептическими взглядами девчонок, короче, представлял собой довольно-таки жалкую фигуру, где уж там шахматный

король. Но кто знает, не окажись я в таком плачевном положении, Аля не обратила бы, возможно, на меня своего милосердного взгляда. А так сработал вековой женский инстинкт - жалеть убогеньких - и всё произошло значительно проще, чем я ожидал, хоть и не по моему сценарию.

Придя в себя, я помогал перетаскивать стулья и столы, переговариваясь со своими новыми знакомыми, старался, конечно, находиться недалеко от Али, что не составляло особого труда - убирать актовый зал остались самые обязательные: четыре девушки и двое парней, ответственные за звук и свет во время представления. Они сворачивали свою технику, а я помогал девчонкам.

Аля заговорила со мной первая, совсем непринуждённо.

- Тебе понравилось?

- Я видел только конец спектакля. Но то, что я видел, мне понравилось.

- Мы целый месяц готовились, после уроков репетировали. Надежда Николаевна, наверное, тебе рассказывала про наши муки. По старым сундукам собирали реквизит. Видишь, какую юбку мне откопали.

- Только танцевать тебе в ней будет неудобно. - Затаив надежду, я ждал ответа на эту реплику.

- Да я сейчас переоденусь, - ответила Аля, не подозревая, что продляет мне надежду и, может быть, спасает мою репутацию.

В спортзале, куда мы спустились вместе с матерью, Аля улыбнулась мне уже, как старому знакомому. Мы обменялись ничего не значащими фразами. Завести разговор в этом хаосе и шуме да ещё в присутствии матери было просто невозможно. Вся моя подготовительная работа пошла насмарку.

Всё, что я знал об Але из её характеристик, сочинений и рассказов матери совсем не шло к ней. Она вела себя очень естественно и непринуждённо. Никакого надрыва, эйфории или скрытого страдания. Роль жертвы или затравленного зверька ей совсем не подходила. Как же я мог так ошибиться? Это её беличьи глаза на фотографии ввели меня в заблуждение. Сегодня бельчонку весело, не грозит никакая опасность - и вот они уже светятся задорным огоньком.

Закомплексовал я. Никак не мог войти в свою роль соблазнителя, терялся под её взглядами, злился, что не умею танцевать. Вечер подходил к концу, старшеклассники потихоньку расходились. Я потерял Алю из виду и уже списал свою несостоявшуюся затею, удивить своих одноклассников. Но судьбе было угодно, чтобы моя жизнь всё-таки изменилась в лучшую сторону. По дороге на остановку мы нагнали Алю, и мать настояла на том, чтобы я проводил её домой. Сама же она села в быстро подошедший автобус, попросив долго не задерживаться, помахала из окна, многозначительно улыбаясь.

Позже я часто вспоминал этот переломный момент в моей биографии. Что же это было? Подарок судьбы

или подачка? Испытание на силу духа или просто случай? Насмешка или издевательство над моими наивными попытками взять свою судьбу в собственные руки? Так или иначе, но в моей жизни была и любовь, и дружба, и критерий для всего произошедшего впоследствии. Горько и сладко вспоминать о той поре моей юности. Горько, потому что показали настоящее и отняли, потому что ничего лучшего ни до, ни после Али не произошло.

В тот первый наш вечер мы два часа бродили по свеже-выпавшему липкому снегу и говорили о чём-то несущественном, робко присматриваясь друг к другу. Как что-то само собой разумеющееся, Аля дала мне напоследок свой телефон и предложила как-нибудь встретиться. Это „как-нибудь“ состоялось довольно скоро. Выдержав двухдневную паузу приличия, я позвонил Але, заикаясь и неумело договорился о свидании. С тех пор мы стали видеться часто. Новый год приближался, но желание встретить его с одноклассниками у меня пропало. Я сказал, что моя девушка встречает Новый год в кругу семьи, а одному мне приходить не хочется. Было приятно говорить правду и абсолютно всё равно, поверили ли мне.

С Алей мы договорились встретиться после двенадцати, чтобы поздравить друг друга с Новым годом, с самым счастливым годом моей жизни.

В нашей дружбе не было ничего яркого, необыкновенного или страстного, если не считать наших отчаянных споров на всевозможные темы. Были длительные прогулки по закоулкам сонного города,

было общение на равных, были случайные прикосновения, от которых пробегала по телу дрожь, во всяком случае у меня. Чем больше я узнавал о жизни Али, тем лучше я понимал странности её характера: её непосредственность и лёгкость в общении, восторженость и мечтательность сочетались в нём необъяснимым образом с трезвым и критичным взглядом на мир, её доверчивая и наивная вера в будущее с тоской по „настоящему“ - так она называла свою ностальгию, страдая от грубости, повседневности, несправедливости. Свою веру в любовь, дружбу, материнство и искусство она отстаивала с фанатичностью сектантки, называя меня циником и пессимистом.

Дочь военного, Аля провела значительную часть своего детства в маленьких военных городках, часто меняя школы. Пережив несколько печальных расставаний и поняв, что в её жизни всё только на короткий срок, она не стала сильно привязываться к друзьям, хоть и страдала, повзрослев, от поверхностности своих отношений с людьми. Её лучшей подругой всегда была её мать. С ней она делила житейские неустройства, одинокие часы ожидания, мысли и мечты. Может быть поэтому Аля повзрослела раньше своих сверстниц.

В наших разговорах я часто принимал покровительственный или иронический тон, чем ужасно злил Алю, но слушал её с наслаждением, может быть, втайне желая, чтобы она оказалась права, и этот мир не выглядел таким серым и беспорядочным, каким я его себе нарисовал. С юношеским

оптимизмом Аля верила в силу искусства, мечтала стать журналисткой, чтобы усовершенствовать этот мир, открыть людям глаза на их заблуждения и ошибки.

- Каждый должен начинать с себя, - говорила она. И делать то, что он лучше всего умеет. Я умею писать. Мне это дано от рождения. Стоит мне написать одну строчку, как все последующие рождаются в моей голове независимо от моей воли. Мне не нужно напрягаться. Они приходят сами.

- И что же ты собираешся сказать людям такое важное, что они непременно тебя послушают и возьмутся за самоусовершенствование? – иронизировал я. - Всё уже сказано, пережёвано и выплюнуто миллиард раз. Мы едим пережёванное. Кто-то пожевал, проглотил и не понял, что съел. Кто-то пожевал, не понравилось и выплюнул. У кого-то слабый желудок - не принял. Кто-то проглотил, переварил - и выжил, а кто-то отравился. А ты хочешь, чтобы всем на пользу пошло. Что ты можешь сказать нового?

- Смысл искусства - не новое сказать - это задача философов. Художник ищет новую форму, чтобы сделать содержание доступным, актуальным для своего времени. Что может быть прекраснее, чем создавать красоту, тягаться в этом с самой природой, отшлифовывать, оттачивать и очищаться самому при этом.

- Об этом я тоже уже слышал. Но когда об этом говорит наша Сорока...

- Какая Сорока?

- Да наша классная, Сорокина Валентина Сергеевна, или моя мать, - я ещё понимаю, им деньги за это платят. Но ты ведь несёшь эту чушь и веришь в неё.

- Не думаю, что твоя мама не верит в то, что нам говорит. Она с пониманием. У нас в классе её любят.

- Наивное ты существо. Если бы ты услышала, как учителя себя ведут вне школы, какие среди них бывают циники, сплетники да мещане...

Аля перебила:

- Я говорю не обо всех и не о некоторых, а о твоей матери. А ей я верю. Не понимаю, чем она тебе так досадила.

- Артистка она. Как, впрочем, и ты. Чем-то вы похожи друг на друга. Наверное, отсутствием ощущения реальности. Красота-а, создание новых фо-о-рм, - передразнил я Алю. А что делать тем, кто недостаточно талантлив, чтобы создавать прекрасное? Ради чего жить им?

- Они материал. Вот послушай. Я много думала над этим. У меня на этот счёт есть сумасшедшая идея. Представь себе, что реального мира не существует.

- Ага, узнаю, учебник обществововедения, страница стосорокпятая.

- Не перебивай, мне нужно сосредоточиться. Может, это не моя идея, но я её для себя открыла и всё больше в неё верю.

- Вера - это из области религии. Она не имеет с реальностью ничего общего.

- Религия - это тоже реальность, так как она существует. Вера материализуется в наших поступках, в наших судьбах, в жизнеописаниях святых и мучеников, в священных книгах, в революциях.

- Ошибаешься. Религия - это опиум для народа. И средство манипулировать людьми.

- Теперь ты звучишь, как учитель. Но ведь если бы веры не существовало, некого было бы манипулировать, никто бы не поддался на уловки церкви. В том, что религию изнасиловали, виноваты не верующие, а атеисты.

- Не было бы веры, идеалов, иллюзий и прочего сентиментального бесполезного бреда, люди действовали бы в силу осознанной необходимости. Не ждали бы пока дождь-бог польёт им огород, а поливали бы его сами, не голодали бы и не убивали друг друга за кусок хлеба.

- Ты всё упрощаешь. Не хлебом единым...

- Да, если ты сыт. А если голоден, то всё вертится вокруг хлеба, а сегодня это ещё деньги и связи, так как натуральное хозяйство мы, к несчастью, уже пережили.

Аля погрустнела.

- Духовный голод сильнее. Ты знаешь, я, несмотря на твою мерзкую привычку перебивать, всё подвергать сомнению, придираться к каждому слову,

люблю с тобой спорить. Наши разговоры засталяют меня пересмотреть мою точку зрения. Мне кажется, благодаря тебе, я становлюсь объективнее.

Мне стало неловко. Аля, как всегда, примирила наши разногласия, и остаток вечера прошёл более или менее миролюбиво. Утихомирив страсти, Аля изложила мне свою-чужую теорию о нереальности мира.

- Повторяю для бестолковых, - шутливо начала она. Представь себе, что реального мира не существует. Есть мир, который рождается в моей голове. И всё, о чём я думаю, материализуется: предметы, люди, природа и так далее.

- А откуда берутся эти идеи в твоей голове?

- В силу необходимости. Я - это тоже чья-то идея - может моих родителей, идея о дочери, которая будет тем-то и тем-то. И я - эта идея, развивается, рождает из потребностей новые идеи, те материализуются в свою очередь, живут, творят, встречаются с новыми идеями, скрещиваются, дополняют, опровергают или уничтожают друг друга, и так до бесконечности. Это наша жизнь. И мы все связаны одной цепочкой. Понимаешь, мы выдумываем друг друга. Несостоявшиеся личности выдумывают мечтателей. Гении, устав от неустроенности и душевных бурь, выдумывают обывателей с их размеренной, благоустроенной жизнью. Те, в свою очередь, рождают революционеров в своей среде, людей, ненавидящих покой, мещанство и сытость. Они в состоянии что-то изменить, сдвинуть с места. Но и каждый из нас, каждая мелкая сошка участвует

в этом процессе, когда мы мечтаем, когда учимся, развиваемся и воплощаемся в своей судьбе. Я думаю, каждый выбирает себе судьбу и получает то, что осознанно или неосознанно себе желает. В этом смысле даже самые незначительные и заурядные люди представляют собой материал, из которого в будущем может развиться яркая личность.

- А кем ты себя ощущаешь - личностью или материалом? - не удержался я от провокационного вопроса.

- Время покажет, - спокойно ответила Аля. - Я только не хочу сидеть сложа руки. Да и какая разница, что я думаю о себе. Мне бы только удалось поступить в университет. Я хочу писать. И если хоть один человек меня услышит, мне поверит и будет жить по законам доброты и справедливости, значит мой материал не пропал даром. Представляешь, если бы только половина человечества осознала бы, что жить надо не для себя, а для других, то все были бы счастливы.

- Ага, понимаю, - вставил я в её патетический монолог. Одна половина человечества осчастливит другую, и всё будет в порядке.

- Это, конечно, только идея, - смущённо проговорила Аля.

- Но если она материализуется... - подхватил я.

- Мы до этих времён не доживём. Пока что идёт отбор материала.

- Естественный отбор. Как в джунглях.

- Может быть, для нас, людей, естественный отбор и заключается в том, чтобы отобрать одарённых, способных воздействовать на развитие человечества, от бездарных, тормозящих прогресс.

- Ошибаешься. Бездарные сильнее работают локтями и, как правило, выживают.

- Это ты ошибаешься. Бездарные умирают уже при жизни, потому что живут для желудка и сиюминутных удовольствий. Сильные духом живут вечно. В идеях.

Её патетический тон разозлил меня снова. Но я пытался не показать своего раздражения, хотя и не мог не высказать своего мнения.

- Ты только не обижайся, но твоя теория про материал мне совсем что-то не нравится. Тебе хорошо. Повезло родиться в обеспеченной семье, где тебя закидали подарками, книгами и залюбили чуть не на смерть. Какой-то ген в тебе заставлял тебя духовно богатеть и развиваться, может, учителя хорошие попадались, мама хорошо воспитывала, морально поддерживала. Ты жила среди красивых вещей, смотрела шестнадцать лет в зеркало на красивую девочку и видела, как это девочка действует на других - все умиляются, гладят по головке, дают конфетки. Вот и додумалась, что красота - это главное в жизни. Да ещё в школе подтвердили: Красота спасёт мир! В человеке всё должно быть прекрасно! А что делать какому-нибудь уроду, или сыну пьяницы, выросшему в нищете, или дочери проститутки, выросшей в духовном убожестве? Что

ты скажешь им? Извините, простите - вы материал. А если этот материал ещё и думать научили или кусочек красивого показали - дескать, так вот бывает и должно быть - то за результат я не отвечаю. Тут или пан или пропал. Если сильна тяга к этому твоему прекрасному - может, и выплывут, а скорее всего нет. Так материалом и помрут, пятьдесят - восемьдесят лет предварительно помучившись от сознания собственной ничтожности. Ну, что молчишь? Есть у тебя рецепт для этих людей?

- Есть. Рецепт этот - любовь.

- О, боже. Этого следовало ожидать.

- Любовь - она гораздо важнее красоты, которую ты, кстати, довольно однозначно понимаешь. Любить не запрещено никому и почти все умеют. Знаешь, как детдомовские дети мечтают найти своих родителей. Потребность любить и быть любимым заложена в нас от природы. А в раннем возрасте она выражается, как правило, в чувстве к родителям или к одному из них. Вот и ищут сироты их, пьяниц, преступников, кем бы они ни были, прощают им всё, не желая смириться с мыслью, что отвергнуты, брошены, нелюбимы.

- Так может, это больное самолюбие? - съязвил я. Как это меня, такого хорошего, не любили и бросили!?

- На такие темы не шутят, - почти ожесточённо бросила Аля. Не любят только нравственные уроды. Они или психически больны, или же окружающие делают их таковыми. Но иногда эта потребность так

сильна, что никто и ничто не в состоянии её убить. Ты читал у Горького рассказ „Страсти-мордасти“? Так почитай. Он ведь не только „Мать“ написал. За один этот рассказ я ему все муки на уроках литературы в первой четверти прощаю.

- Всё это звучит красиво и даже в какой-то степени правильно. Но ведь проблема в том, что мы не выбираем тех, кто нас и кого мы любим. И если половинки не встретятся... Фу ты, я уже начинаю выражаться твоим языком! - так пропадёшь. Погубит тебя любовь твоя великая и закончится на этом твой естественный отбор - не отобрали, не достойны, извините, не достаточно сильны, одарены и красивы. Да и любить-то умеют немногие. В этом ты тоже ошибаешься. Легко рассуждать о любви, а конкретного человека любить труднее. Он ведь со сложностями характера, дурными привычками или, вот, как я: дерзкий, перебиваю, издеваюсь, некрасивый к тому же. Попробуй, полюби такого. Ты ведь тоже, небось, на смазливых и прикинутых смотришь. Ах да, забыл, я материал, материализовавшаяся идея, которую кто-то для тебя придумал, может быть, даже ты сама, чтобы на определённом этапе твоей жизни ты задумалась над противоречиями свой философии, чтобы дальше развивалась, формировалась, зрела. Ты у нас личность, а я материал. Станешь известной журналисткой - меня в твоей биографии упомянут. В этом моя цель и назначение. Например, так: „В таком-то месяце и году встретилась с таким-то таким, который повлиял на её развитие в смысле ухода от наивного идеализма. Является прототипом одного из героев

её романа „Идиот двадцатого века“.

Аля рассмеялась.

- Какой ты всё-таки злючка. Почему тебе хочется всё поломать или высмеять? Хочешь я буду тебя любить? - просто, без тени кокетства сказала Аля и смутилась.

- Меня не за что любить. Я злой.

Аля процитировала свою любимую Цветаеву: „Послушайте, ещё меня любите за то, что я умру“.

- Как это у тебя всё просто: захочу - стану писательницей, захочу - буду любить. Сумасбродка ты, Марина Цветаева провинциального масштаба, поэтесса доморощенная.

- А та злюка, злюка, злюка. А самому ведь хочется. Плохо человеку, когда он один.

- Перестань сыпать литературными цитатами. Мне этого дома уже хватает.

- А что в этом плохого? Кто-то нашёл хорошую форму для давно известного содержания. Почему ею не пользоваться? Пользуемся ведь мы чайниками и утюгами. И никто не скажет: Что умничаешь? Воду можно и в банке жестяной вскипятить. А скажешь красивую фразу или интересную цитату, так на тебя смотрят, как на выскочку. Недавно в классе упомянула, что была в театре, так мои одноклассники меня на смех подняли, издевались. Мне было так неловко, как будто я была в ночном баре. Ты себе не представляешь, какие у нас есть субъекты в классе.

В общем-то нормальные ребята, но живут, как герань на окне, только кислород поглощают. Даже моя близкая подруга никак не поймёт, почему я себе голову ломаю над разными проблемами. Недавно говорит мне: „Чего это ты всё думаешь и думаешь. Я, вот, иногда, когда делать нечего, сяду и думаю: дай-ка я о чём-нибудь подумаю. И не не знаю о чём.“ Представляешь, ей не о чем подумать. Хорошо учится, пересказывая учебники. А подумать не о чем.

- Поверь, ей в жизни будет в десять раз легче, чем тебе. Она смазливая?

- Да, ничего. Блондинка, стройненькая.

- Выйдет замуж, народит детей и будет думать: из чего бы ей сегодня состряпать обед? И здесь она такую творческую фантазию проявит - из полкилограмма говядины и борщ, и блины фаршированные наделает - что ты, с твоими поисками новых форм, ей и в подмётки не сгодишься. Горе от ума. Тьфу ты, опять. Ты на меня плохо влияешь. Скоро мои одноклассники на меня так же косо будут смотреть, как твои на тебя. У нас таких блондинок тоже хватает. Да и парни не лучше. Разговоры „на пеньках“, это у нас место встречи за школой, всё об одном и том же. Если бы они нас с тобой сейчас услышали, они бы и здороваться со мной перестали. Недавно в классе был такой анекдот: Сорокина спросила, кто на каникулах что-нибудь прочитал. И спросила, как нарочно, Сенчика, нашего классного шута. Ну, тому пришлось выкручиваться, он и говорит: „Я, Валентина Сергеевна, уже третий раз „Бравого солдата

Швейка“ читаю.“ Она его похвалила, полчаса проговорила, какая это чудесная книга, о связи с историей, образе простого солдата, о комизме и героизме. А Сенчика по сей день все насмех поднимают. Мол, в четвёртый раз, может быть, что-нибудь поймёшь. Я думаю, охоту читать у него теперь отбили на всю жизнь.

- Мне так не хватает людей. Мы провинциалы. Нам просто не повезло.

- Это точно. Не помню, кто это сказал. Кажется, это сказал я. Но человек обречён на свою судьбу уже местом своего рождения.

- Головой, ногами или...

- Не остри. Я это серьёзно. Нам не повезло, во-первых, потому что мы родились в провинции, во-вторых, что нас думать всё-таки научили.

- Хочешь, я тебе прочитаю своё стихотворение. В нем тоже про это. Про „думать“.

Я воздержался от сарказма на счёт доморощенных поэтесс, было любопытно.

- Давай.

Аля сначала запиналась и робела, потом, глядя в сторону, читала хорошо, даже лучше, чем тогда, на сцене. Чувствовалось, что это было её, сокровенное.

Я не в центре событий,
И не в центре внимания,
И меня не преследует
Величия мания.

Я вполне равнодушна
К разным склокам и ссорам.
Не знобит и не душно,
Не молчу и не спорю.
Не качусь по наклонной,
Не карабкаюсь в гору -
По равнине по сонной,
Мимо счастья и горя
Я бреду. От раздумий
голова тяжелеет,
А идти и не думать
Я совсем не умею.
И навязчиво древний
Свою правду простую
Мне внушает: Ты мыслишь,
Ты ещё существуешь.

- Ну, как? - не поднимая глаз, спросила Аля.

- Противоречит твоему оптимизму и вере в будущее.

- Это не я, а моё настроение тогда, когда писала.

- И много у тебя их?

- Хороших мало. Пока пишу - нравится. А через год всё сжигаю, потому что банально или рифмы хромают. В этом тоже мне одна строчка не поддаётся.

- Ну и зря сжигаешь. Стихи - это фотографии. Такой ты уже не будешь никогда.

- Наивной, бестолковой дурочкой?

- Хотя бы и так. Кстати, этот твой древний - не такой уж древний. Он жил в семнадцатом столетии.

Декарт называется.

- Боже, какой ты вумный, прямо противно. И всё-то ты знаешь, и везде уже был...

- И послать меня некуда.

- Я пошлю тебя сейчас домой, а то мне сейчас влетит от отца. Он, кажется, сегодня дома.

Глава 6 Любовь

Состояние влюблённости продолжается средне-статистически шесть недель. Ответственен за это состояние избыток каких-то гормонов в организме. Избыток или недостаток чего-либо в организме приводит к болезни. Избыток кислоты в желудке вызывает язву, недостаток белка - мышечную дистрофию, избыток гормонов - любовь. После шести недель ты или выздоравливаешь, или умираешь духовно, если не физически, потому что теряешь что-то очень важное, ощущаешь на его месте пустоту.

Я не хотел признаваться себе в том, что болен, сопротивлялся этому всеми силами души и организма. Вопреки всем статистикам и после шести недель нашего знакомства, меня всё ещё тянуло к Але, хотелось её видеть, говорить с ней, играя роль уставшего от жизни, всё и всех презирающего скептика. Как нечестен был я с ней, как много времени потерял. Если бы я знал, что это будет единственный подарок судьбы, единственный и такой краткосрочный, единственное „настоящее“, выражаясь Алиным языком, да разве бы я стал лгать себе и ей, притворяться холодным, прятаться за непроницаемой стеной своего добровольного заточения и показного цинизма.

Наступило лето, и мы стали часто встречаться за городом, на берегу маленького озерца с кристально-чистой родниковой водой и илистым вязким дном.

Рядом с ним находилась автобаза межавтотранса и кладбище. Вечерами на берегу у костра собирались шофёры и слесари, чтобы выпить и расслабиться после долгого рабочего дня. Покойники оставались на своих местах, но находиться там в потёмках учителями и родителями всё-таки не рекомендовалось.

Чтобы не вызывать подозрений и ненужных вопросов, Аля днём прятала в кустах полотенце и купальник, а вечером, когда верхний слой воды прогревался до температуры парного молока, мы шли на лодочную станцию, брали там лодку или водный велосипед, гребли к маленькому, торчавшему из воды глиняному островку, плавали, дурачились, пускали лягушек, кто больше, - так называлась игра с прыгающим по воде камешком. Это было наше первое и последнее лето. В августе темнело уже очень рано. Вернув лодку, мы сидели на берегу, озябшие от долгого пребывания в воде, укутавшись, она в своё большое полотенце, я в байковую рубашку. (Помню, мать всё удивлялась, почему я в жару такую тёплую одеваю). Иногда Аля читала мне свои стихи или рассказывала о своих поездках и жизни в военных городках. Иногда мы просто молчали, глядя в низко висящее над нами августовское небо, считая падающие звёзды. Как банально, но ничего прекраснее этих ночей в моей жизни ни до, ни после не случилось. В один из вечеров Аля показала мне свою звезду, прочитала о ней стихотворение. Не помню начала, что-то очень самобичующее и самокритичное, вроде того, что счастья она не заслужила за своё непостоянство и

поверхностность. Но последняя строфа мне запомнилась:

Видно любит таких апрель
Или светит мне с небосклона
Голубая звезда Ригель
Из созвездия Ориона.

Я по привычке посмеивался над её романтичностью, но не желая обидеть или спугнуть настроение, которое нас обоих охватило, не упрекнул в театральности и наигранности восторга, хотя эта фраза уже вертелась у меня на языке. Аля шутя огрызнулась и спросила:

- Неужели ты не ощущаешь влияния на нас звёзд? Ты ведь у меня такая умница и небесчувственный какой-нибудь, а значит не можешь не задумываться над тайнами, скрытыми в этой бесконечности.

Думаю, я был счастлив в эту ночь, от её близости, от этой тиши, нарушаемой только пересвистом сверчков и лаем собак, доносившимся издалека. Здесь не было проблем окружающего мира, ни прошлого, ни будущего, только настоящее, которое меня теперь не пугало, не томило своей безграничностью во времени и в пространстве, был только этот клочок земли, освещённый полной луной, которая ночи напролёт будоражила, рождая неопределённые желания. Возбуждённый, я начал говорить о своём восприятии ночного неба, как-то незаметно для себя раскрываясь всё больше и больше. В эту ночь я рассказал Але о моих детских наивных страхах, о моих снах наяву, о ночных гонках за горизонтом и

за бесконечностью.

Аля слушала очень серьёзно, не глядя в мою сторону, а я уже не мог остановиться - накопленное годами в одиночестве вырвалось без удержу. Не знаю, как долго длился мой монолог. Если бы она сказала хоть слово, возможно, я отрезвел бы. Но она молчала, молчала и после того, как я умолк. И вдруг мне стало ужасно неловко, захотелось встать и уйти, куда глаза глядят, оставить её одну или сделать ей больно. И прежде, чем она успела сказать хоть слово, я развязно рассмеялся ей в лицо.

- Как легко тебя обмануть. Что, поверила? Захотелось меня спасать, любить и жалеть? Или лучше не надо? Подожди, может, встретишь ещё своего принца, доброго, умного, красивого, который будет нести такую же чушь несусветную о красоте и об искусстве, о любви и о спасении мира.

И была бы другая на её месте, влепила бы она мне пощёчину, встала бы и ушла. Но Аля только сказала шопотом:

- Спасайся сам, кто может, - и продолжала молчать, глядя вдаль.

Недалеко от нас появились два силуэта, послышались голоса - женский и мужской, потом всплеск воды. Несколько минут спустя женский голос сказал: „Давай сюда простыню, а то я сейчас закоченею.“ Мужской силуэт укутал девушку, повизгивавшую от холода, в большое белое полотно, подхватил легко и унёс с наших глаз из лунной световой дорожки к машине, которая ждала их на

бугре. Когда голоса и смех их умолкли, меня охватила такая тоска, что впервые за много лет захотелось расплакаться. Припадок красноречия закончился усталостью, в словах больше не было никакого смысла, но не было и облегчения, того чувства лёгкости, которым природа одарила многих людей, только не меня.

„Мрачная личность, - ругал я себя мысленно. - Почему я всё вижу в чёрном свете? Почему не могу расслабиться, как эти двое? Даже с Алей я веду эти бесконечные споры, которые бы непременно бы заканчивались ссорами, если бы не её дипломатичность и чувство такта.“

Аля сказала:

- Прости, что я тебя не разглядела. Я так занята собой, своими планами и не вижу ничего дальше собственного носа. Но спасать себя тебе придётся самому. Мы снова переезжаем в другой город. У отца уже новое назначение на руках. Так что остались нам с тобой две недельки с хвостиком. И если больше не увидимся - сам знаешь, сборы, разборы, то не к чему напоследок ссориться.

Она повернулась ко мне лицом, впервые за последние полчаса. Я чувствовал плечом, что она дрожит, и не знал, что делать дальше и что ей ответить. Не привыкший к ласкам, неловкий юнец, разбудораженный до предела, я только прижался теснее к ней, не умея по-другому выразить охватившуя меня к ней ласку и тоску, предчувствуя боль самой большой в моей жизни утраты.

„Алька, Алинка, бельчонок мой наивный, что же ты со мной делаешь, как я буду теперь без тебя жить“, - вертелось у меня на языке, но произнести это мне было не под силу. Не было в языке слов, которые не показались бы сейчас нелепыми, избитыми, киношными. В голове теснились обрывки фраз из фильмов и книг, романтичных, сентиментальных и даже циничных и пошлых, из репертуара моих пеньковских знакомых и моего собственного, до Али.

До Али, после Али... Моя жизнь разделилась на две части. Но в тот момент я этого ещё не осознавал и только силился собраться с мыслями, побороть эту сумятицу чувств и сказать что-то единственно важное в этой ситуации. Сколько циничных, злых слов произнёс я за свой короткий век мысленно и вслух, но чтобы сказать этой девочке, что она стала мне так близка, как нужна она мне, чтобы оттаять, вернуться, опровергнуть всё пережитое и передуманное мной за последние годы, - для этого слов не находилось. Только позже, когда я снова и снова прокручивал в голове эту сцену, мои тогдашние чувства получили словесные очертания. А тогда мы просто сидели и дрожали, тесно прижавшись друг к другу, как два озябших зверька.

Аля первая прервала молчание: „Мне пора“. Поднялась, отошла в сторону, стала стягивать под полотенцем мокрый купальник. Я, как парализованный, не мог сдвинуться с места и только следил за её движениями, как она, переступая с ноги на ногу, натягивает белые трусики, потом одевает платье и вытягивает из-под него полотенце, сушит

им свои длинные волосы, потом бежит по лунной дорожке к воде, ополаскивает одну ногу, качается, соскальзывает с камня в воду и начинает всю процедуру сначала. Потом осторожно идёт в мою сторону, стараясь не набрать песок в босоножки.

Какое воспоминание! Только тот, кто потерял способность передвигаться на своих ногах, может понять божественное очарование этой картины. Она шла ко мне, а я, хотя оцепенение моё уже прошло, не хотел подниматься и уходить с этого берега. Хотелось ещё долго сидеть и любоваться ею в свете луны. А в голове опять вертелась чужая, но такая понятная мне мысь, что красота спасёт мир, и меня, и Алю, а может, даже Сенчика, если поймёт он после четвёртого прочтения, какой это прекрасный роман „Похождение бравого солдата Швейка“.

Аля взяла меня за обе руки, потянула к себе, помогая подняться. От долгого сидения у меня затекли ноги, я не удержался, упал на спину и потянул её за собой. Оробев от неожиданной близости, скрестив пальцы, сомкнув ладони, руки вдоль тела, мы лежали несколько мгновений, не дыша и не шевелясь. Аля попыталась высвободить пальцы, но я уже не мог и не хотел отпустить её. Задыхаясь от нового для меня чувства одержимости и влечения, я свёл ей руки за спину, прижимая её к себе таким сильным рывком, что она вскрикнула от боли. Неловкими движениями сухих, ставших чужими, обветренных губ я стал тыкаться в её шею, подбородок, мочку уха, целовал неумело, сомкнутыми губами её веки и дрожь ресниц. Овладев наконец

своим телом, обхватил её плечи, ощутил под пальцами гусиную кожу, пупырышки на холодной и ещё влажной спине, на бёдрах, по которым скользили, подчиняясь вековому природному инстинкту мои пальцы, ставшие вдруг такими смелыми и чуткими, как у пианиста. Время не остановилось, секунды совпадали с ударами моего прыгающего сердца, а в сознание уже закрадывалась мысль: этому чуду скоро придёт конец, и с этой мыслью - отчаянье: такое не повторяется. Я испугал Алю своим порывом. Несмышлёныш, я позволил ей освободиться, подчиняясь её ласковым, но настойчивым уговорам.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать восемь лет. В моей жизни были короткие, случайные и более длительные связи с женщинами, которых я в силу своей болезни да и мерзкого, озлобленного характера, рано или поздно терял. Но одной из причин моего фиаско в любовных отношениях был тот факт, что я после Али никогда больше не испытал такого сильного и искреннего влечения ни к одной из них. Всё последующее было только повторением, было таким театральным, поддельным, ложью. Внутренний голос говорил с сарказмом: „Хорошо играешь роль, но это только роль!“ Или: „Это ты говорил в прошлый раз. Ну, да ладно, если на эту уловку всё время попадаются, зачем оригинальничать и напрягаться.“

Как бы сложилась наша судьба, если бы я был сильнее Али, если бы удержал её возле себя, убедил бы, что это - настоящее, которого она так ждала и искала, и случается только раз в столетие? Но я был

не уверен в себе, не увидел у неё той одержимости, которая овладела мной, и принял это за отсутствие чувства. А может, так оно и было. Она взяла меня за руку и увела с этого берега в будущее без неё.

Глава 7 Судьба

Мы встречались ещё несколько раз после той лунной августовской ночи и говорили о чём угодно, только не об этой случайной и неудачной попытке близости. В наших отношениях появилась то ли натянутость, то ли недосказанность, что-то неопределённое. Меня мучила моя неуклюжесть и беспомощность, в зеркале я видел своё некрасивое лицо и нетренированные вялые мускулы, а сны, настоящие и наяву, отклонялись больше в сторону эротической мечтательности. В реальности я стал ещё более циничным и колючим, замкнулся, часами не выходил из своей комнаты и не разговаривал с матерью. А вечерами слонялся без дела по улицам и всё чаще возле Алиного дома, надеясь на случайную встречу с ней.

В один из выходных, тягучих и одиноко-бездарных дней, похожих в каникулярное время на любой будний, Аля позвонила и долго говорила о том, о сём, потом, как бы невзначай, добавила, что они с подругой пойдут сегодня на озеро, и пригласила пойти с ними вместе. Напоминание о месте того ночного свидания обдало меня горячей волной. Стараясь скрыть волнение, я с напускной холодностью ответил, что занят, да и поздно уже для купания.

- А мы не купаться, мы на лодке поплаваем. Приходи, если хочешь. Мы будем недалеко от катера.

- Посмотрим, если управлюсь.

Я был на озере уже раньше их. Видел, как они спускались с обрыва к берегу с лапастыми сумками и полотенцами через плечо к нашему месту. Сам прятался за старым катером, который стоял, накренившись, неподалёку ржавой развалиной и служил ориентиром, как место встреч и единственная достопримечательность.

Через полчаса я подплыл к берегу на лодке. Аля увидела меня первой, подбежала, явно обрадовавшись. Забравшись в лодку, девчонки тарахтели наперебой и без умолку, а я усердно заработал вёслами, направляя лодку на середину озера. Через два часа я уже изрядно устал, но не подавал вида, утешая себя мыслью, что развиваю свои мускулы. Начало смеркаться. Аля засобиралась домой, я предложил себя в провожатые.

Старенький икарус довёз нас до их микрорайона. Возле Алиного подъезда постояли и поговорили ещё немного о быстро пролетевшем лете, о слишком коротких каникулах, о десятом классе, осилить который мне предстояло. Я втайне надеялся, что её подруга уйдёт первой, и нам удасться ещё хоть один вечер побыть вдвоём. Но она всё болтала и болтала, не замечая моего нетерпения. Аля, прервав разговор, сославшись на остывающий ужин или что-то в этом роде, попрощалась первой и нырнула в свой подъезд. Разочарованный, я поплёлся на остановку.

Автобусы в нашем городе ходят по графику, систематику которого не суждено постичь ни одному смертному. Особенно по-воскресеньям. То приходят два подряд, то полчаса нет ни одного. Но меня это

не волновало. На улице было тепло, да и торопиться мне было некуда. Но на этот раз мне не пришлось ждать и пяти минут. В тот момент, когда я ступил на первую ступеньку автобуса, из-за угла своего дома выбежала Аля, и я едва успел спрыгнуть обратно на тротуар. Шофёр лениво ругнулся, но, увидев подбежавшую Алю, понимающе добавил: „Эх, молодёжь!“ - закрыл двери и уехал, а мы с Алей побрели вдоль дороги по тротуару.

- Судьба, - сказал я. Приди ты минутой позже, и я бы уехал.

- Случайность, - сказала Аля.

И снова завязался один из наших сумбурно-наивных философских споров.

Теперь, прикованный к постели, я вспоминаю тот или иной наш разговор со смешанным чувством. Я завидую тому неопытному юнцу, который сам не знал, что несёт, начитавшись умных книг, и лучше бы он таковым и оставался, наивным и самонадеянным. Но обстоятельства сложились иначе. Судьбе было угодно, чтобы каждое своё циничное высказывание я проверил на собственной шкуре и оказался прав, если не во всём, то в главном: человек не волен над своей судьбой. Она нагонит и накажет за зазнайство и самоуправство, куда бы ты не бежал, как бы рьяно ты не боролся против своего характера. Мне суждено было стать неудачником, одиночкой, затворником, и как бы я не старался, осознав тяжесть этого груза, избавиться от этого ярма, какие роли бы в своей жизни не играл,

искренне или фальшиво, я только терял, терял, терял.

Вы, дешёвые оптимисты, жизнелюбивые ловкачи и толстокожие равнодушные, я завидую вам. Вас не испытала судьба, не проверила на прочность и твёрдость убеждений, на искренность веры или безверия. Тот наш последний разговор о судьбе был одновременно началом моего пути. С этого самого вечера события развивались как бы по придуманному кем-то плану, очень логично и взаимосвязанно. Но тогда я этого ещё не видел, я только теоретизировал.

- Судьба - это стечение обстоятельств, от нас не зависящих, - поучал я Алю.

- А ты противопоставь им свою волю, - не сдавалась моя подруга-оптимистка.

- Бесполезно. В силу тех же обстоятельств ты можешь оказаться в нужный момент обессиленным, ослабленным, безвольным.

- Волю можно тренировать.

- Знаю, на гвоздях спать.

- Хотя бы и так, но чаще всего - это плыть против течения. Например, мои родители мечтают, чтобы я пошла в пединститут, вышла замуж за мужчину с солидной зарплатой, дачей и прочее, родила двоих детей и жила бы себе спокойненько недалеко от них. А я вот возьму и уеду в Москву, поступлю на журналистский факультет, буду много путешествовать, писать для газеты.

- А потом влюбишься, выйдешь замуж за редактора с солидной зарплатой, дачей, родишь ему двоих детей, твои родители тоже переберутся в Москву, и будешь ты, в конце концов, жить спокойненько недалеко от своей мамочки, потому что это твоя судьба, несмотря на то, что ты проявила волю и не поплыла по течению. В том-то и проблема: течение, оно сильнее нас. Плывёшь ли ты по или против течения, тебя несёт вниз по реке, а что тебя ожидает, водопад или открытое море, мы, как правило, не знаем. Но река-то существует независимо от твоей воли, и будут ли на её пути преграды, изгибы и мели, нам не известно и не подвластно.

- Я умею плавать, а значит не утону.

- А тебе известно, что тонут чаще всего хорошие пловцы?

- И всё-таки, я - думающее существо, а не песчинка какая-нибудь. Я могу анализировать ситуацию и воспитывать в себе нужные качества. Судьба - это характер.

- Характер - это чужие гены. Может, во мне спрятаны гены моего деда алкоголика, тысячи поколений рабов...

- Одного миллиона пессимистов и одного бунтаря-недоучки, - сострила Аля.

- Сама ты недоучка. Ты не понимаешь, как мы зависим от своего окружения. Меня воспитали, обучили и к чему-то приучили, а я думаю, что это мои привычки и желания, мои знания и моя воля.

Что во мне моё? Что такое я? И чего я хочу? На эти вопросы бы найти ответ, тогда, может быть, и стоит поплыть против течения. Но хватит ли у меня сил - это тоже от меня не зависит. В силу тех же самых обстоятельств и в силу моего, то бишь, навязанного мне характера, я окажусь в нужный момент неспособным проявить силу воли и меня опять понесёт по течению.

- У человека всегда есть выбор, и этот выбор зависит только от него. Нужно только не струсить и не совершить ошибки.

- Ага, значит, всё-таки боишься совершить ошибку, потому что ты себя не знаешь, не знаешь, что для тебя хорошо, а что плохо. А потому, поступай в институт, полагаясь на связи своего папочки, и не сопротивляйся своей судьбе, которую для тебя придумали твои родители по твоей же теории материализующейся идеи. Или ты думаешь, что только добрые, благородные или тебе угодные идеи материализуются? Как ты не понимаешь, что в тот момент, когда тебя только задумали, всё уже было предопределено. Ты родилась в семье военного, тебя пичкали книгами и развлекали путешествиями, сделали из тебя оптимистку, идеалистку и фантазёрку. Рано или поздно ты найдёшь того единственного и неповторимого, который будет делить с тобой твои романтические идеалы. Деньги и связи отца устроят вам сносное существование и всё пойдёт, как по маслу. Я же застряну в этой провинции, не поступлю в институт, потому что с троечками туда не всех берут, а только по-знакомству, а

моя принципиальная мать брезгует такими методами устраивать свою жизнь. Человек обречён на свою судьбу уже местом своего рождения, - повторил я понравившуюся мне своим сарказмом и двусмысленностью фразу. - А родителей ему дают в нагрузку.

- Как это жестоко. В моей жизни тоже не всё гладко, но я не ною, и не критикую всё и вся, а работаю над собой. А родители любят и отпускают своих детей.

- Ошибаешься. Родители заводят детей, чтобы было кому посуду мыть. А когда дети отпочковываются и начинают самостоятельно мыслить, они в них страшно разочарованы. Сами, рабы обстоятельств, они не могут нам позволить освободиться, набираться своего опыта, совершать ошибки. Лучше уж мы будем совершать их ошибки. Они то уж проверены, не смертельны, хотя и смысла в жизни большого не имеют. Если ты действительно хочешь чего-нибудь в жизни добиться, тебе первым делом надо избавиться от эмоций и привязанностей. Тогда тебе будет легко и свободно жить. Эгоизм - это свобода. Свобода - это одиночество, но на это мало кто пойдёт. Мы все так боимся одиночества, боимся совершить ошибку или огорчить маму, - сымитировал я Алину интонацию. - А значит нет у нас никакой свободы выбора.

Аля испуганно смотрела на меня, не зная, что ответить. Понемногу приходя в себя и остывая, я уже жалел о своём выпаде. Ведь это, возможно, наш последний совместный вечер, а я опять всё испортил. Почему я не умею притворяться, почему бы не

предложить ей не терять друг друга из виду, а через год вместе куда-нибудь поступить или просто уехать в один город и там работать, и встречаться по вечерам, читать, дискутировать. Опять я за своё. И сдались мне эти дискуссии. Почему я не могу, как другие в моём возрасте, вести ничего не значащие разговоры, прогуливаться в обнимку с девушкой, которая нравится, очень нравится. Испугав Алю, я не смел надеяться на прощальный поцелуй.

- Какой ты всё-таки путаник, фаталист и прагматик одновременно, - сказала Аля и взяла меня за руку, поднялась на цыпочки, закинула голову и умело поцеловала меня в губы. Я обхватил её за талию, приподнял, и она встала на кончики моих туфель. Так мы прошли последние десять шагов до её дома, она, пятясь, я - прижав её к себе, передвигая ноги за нас обоих. Аля не сопротивлялась, и я вдруг понял, что она прощалась, снизошла, пожалела, не желая напоследок ссориться. Из темноты послышались голоса, и мы юркнули в спасительный мрак подъезда, чтобы не целоваться на виду у поздних прохожих.

Кажется, единственный раз в жизни я был бездумным существом. Наверное, поэтому в памяти ничего не осталось, кроме ванильного вкуса её бесцветной губной помады, смешанного с запахом чужого дыхания. Никаких обещаний на прощанье мы друг другу не дали.

Неделю спустя я провожал Алю на самолёт, тоже без слов, робея от присутствия её родителей. Возвращался домой на троллейбусе. Пожилая женщина, водитель троллейбуса, остановилась у водоколонки,

набрала кружку ледяной воды и принесла мне. Я удивлённо посмотрел на неё, выпил несколько глотков и только тогда заметил, что моё лицо было мокрым от слёз.

События последующего года развивались не по моему сценарию. Аля не поступила на факультет журналистики в Москве, не хватило двух баллов. Видно связи отца до столицы не дотянули. Чтобы не терять года, она сдала документы в Алма-Атинский Педагогический ВУЗ. Там приняли по результатам московских экзаменов, и она стала студенткой. Поначалу она писала в своем неповторимом восторженном стиле длинные и интересные письма, на которые я добросовестно и, надеюсь, тоже интересно отвечал. Потом, ссылаясь на нехватку времени, Аля писала всё реже и суше. К концу года переписка почти прекратилась.

Из гордости я не жаловался, не попрошайничал, не спрашивал о её чувствах, не навязывал совместных планов. И хотя мы оба готовились к экзаменам, я знал, что это не единственная причина её длительного молчания. Для неё началась студенческая жизнь, которая ей, судя по письмам, пришлась по вкусу. Встретив в ВУЗе таких же, как она сама, альтруисток и идеалисток, будущих учительниц, Аля наслаждалась литературными вечерами, бегала по театрам и на просмотры новых фильмов, в общем, оказалась в своей среде.

Я же отсиживал без интереса свои часы в школе, после обеда спал по три часа, а вечерами смотрел телевизор или слонялся по городу.“На пеньки“ меня

не тянуло, моего отсутствия там никто не оплакивал. Я как будто впал в спячку. Всё происходило со мной и не со мной. Апатия, безразличие к себе и к окружающим сменялись внутренним беспокойством и чувством паники. Что дальше? Мать строила за меня планы, выпытывала, куда я хочу пойти учиться, настаивала, чтобы я усиленно готовился к выпускным экзаменам. Я старался в меру возможностей и способностей.

Мне вдруг пришла в голову бредовая идея поступить в Алин ВУЗ, но представление о том, что я буду учителем, вызывало у меня только истерический смех. Я решил поступать в Политехнический институт, на факультет с самым низким конкурсом, а потом, если в этом ещё будет смысл, перевестись в политех Алма-Аты. „А ты прояви волю“, - слышал я Алин голос.

Мне не хватило тех же самых роковых двух баллов. Но меня это особенно не огорчило. Стать горным инженером я никогда не мечтал. А Аля всё лето работала в стройотряде и не написала ни одного письма.

Два месяца после экзаменов я просидел дома с благославления матери: „Отдохни немного, ещё наработаешься в жизни“. В ноябре меня забрали в армию. В моей ситуации это был хоть какой-нибудь да выход. Не хотелось сидеть на шее у матери, а на работу особенно тоже не тянуло. Да и на какую работу? Профессии никакой, призвания тоже. Одно смутное предчувствие какого-то особенного жизненного пути. Интеллектуал без привычки к интел-

лектуальному труду и с отвращением к физическому. Отличительная особенность - хобби-философ и нигилист провинциального масштаба. Где таких ищут и ждут?

А в армию брали всех, чтобы перековать, сделать из маменькиных сыночков настоящих мужчин, выбить из строптивых и самонадеянных голов всю спесь, прыть и гордыню, а через два года выпустить в мир благодарными за любой шанс. Потому что по сравнению с армией всё другое покажется и лёгким, и приятным. И так оно, наверное, должно быть. И так оно, наверное, и было бы.

Когда-то я проявил силу воли и вызубрил все билеты по устройству автомобиля и правилам дорожного движения. И уже в десятом классе, в УПК, я сдал экзамен на водительское удостоверение и получил его без права вождения автомобиля до исполнения мне восемнадцати лет, которые мне вскорости и исполнились. Благодаря этому обстоятельству меня взяли в армию шофёром. По рассказам уже отслуживших ребят меня ожидали всяческие поблажки и привилегии. Но случилось иначе. Три месяца - строевая подготовка, а весной я уже вернулся домой ивалидом Советской Армии.

Глава 8 Калека

Помню, очнувшись в больнице и ещё не зная, где я нахожусь, я по-привычке подумал: не хочется просыпаться, полежать бы ещё. Не хотелось вставать и идти в вонючую армейскую уборную, потом умываться холодной водой, завтракать в неуютной столовой керзовкой, бутербродами с маслом и безвкусным чаем. Не ведает человек, в чём истинное счастье, во всяком случае, здоровый человек. Став лежачим, я очень скоро понял, что удовлетворение элементарных физиологических потребностей - дело не само собой разумеющееся. Пока руки были в гипсе, меня кормили из ложечки, как младенца, в основном супами и кашами; меня переворачивали и мыли чужие руки, дотрагиваясь до интимных частей моего тела; чужие глаза становились свидетелями моего позора, когда мой мочевой пузырь и кишечник непроизвольно опустошались. Врачей и медсестричек постоянно интересовал вопрос, был ли у меня стул, и, боже упаси, если не был. Меня заново учили владеть всевозможными рефлексами, пеленали, смазывали воспалённые места и массировали. Доведя до определённой кондиции, залечив переломы рук и ног, научив элементарному, меня выписали домой. Когда санитарка спросила у врача: „Лежачий сегодня выписывается?“ - меня это уже не шокировало. Я привык к своему новому имени.

Первые пять лет после аварии я провёл, привыкая к новому образу жизни, к инвалидной коляске, к настоящей, а невымышленной несвободе, к чувству

зависимости от окружающих и мучая себя вопросом: почему я? В моих снах наяву то и дело появлялся тот циничный ребёнок, каким я был раньше, и издевался над моим плачевным положением. „А почему бы и нет?“ - отвечал он на мучивший меня вопрос и злорадно смеялся.

Снова и снова я прокручивал в памяти события того дня, когда судьбе было угодно противопоставить меня всему суетящемуся и передвигающемуся на двух ногах окружению, лишив меня права выбора. Интуиция молчала, и не было никакого предчувствия перемен. Всё произошло прозаично и буднично. Без предупреждения. Противопоставил себя окружающим, возомнил себя чем-то особенным - докажи. Просил одиночества - получи и распишись.

Обыкновенный день в казарме: с зарядкой, маршброском, с завтраком, обедом и ужином, драиньем полов, стиркой воротничков и чисткой солдатской униформы. Вечером ко мне подошёл дежурный офицер и приказал следовать за ним. Мне уже и раньше приходилось после отбоя везти кого-нибудь из начальства в ближайший посёлок или военный городок, где жили жёны офицеров, спать в кабине старого грузовичка, ожидая возле подъезда возвращения своего шефа. Я прихватил с собой телогрейку и тёплые носки - в керзовых сапогах ноги мёрзнут быстро - и шагнул в морозный воздух навстречу неизвестному, не подозревая об этом.

На этот раз долго ждать не пришлось. Лейтенант зашёл на пять минут в лавку тёти Насти, известной поселковой самогонщицы, вышел, придерживая за

пазухой свою драгоценную ношу, коротающую ночи на дежурствах. Мы возвращались по просёлочной дороге, накатанной и гладкой, как каток. Пошёл густой снег. Лейтенат торопился, боясь неожиданного звонка или проверки из района. „Прибавь-ка газу“, - сказал он весело, видимо предвкушая удовольствие посидеть в натопленной казарме за стопкой самогонки и домашней закуской.

В армии каждое слово вышестоящего - приказ. Я нажал на педаль. Всё произошло в считанные секунды. Наш грузовичок выкинуло из колеи, замотало по дороге. Он, как живое существо балансировал, как будто пытался выровнять равновесие, прыгал с правых колёс на левые. В панике я совершил роковую ошибку - нажал на тормоза. Машину понесло по дороге, как пушинку. Лейтенант, пытаясь спасти положение, рванул руль на себя. Грузовик развернуло на девяносто градусов, он явно не вписывался в поворот. В тот момент, когда он опрокидывался, я рванул дверцу и попытался выпрыгнуть из кабины. Последнее, что я ощутил перед тем, как я потерял сознание, была не боль и не хруст в позвоночнике, который мне переломило между рамой и дверцей кабины, а отвратительное прикосновение мокрого снега, попавшего мне за шиворот.

Снова и снова я пытаюсь отодвинуть подальше тот момент, когда меня подхватит незримая, бестелесная сила и понесёт, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее по спирали, упирающейся в бесконечность; когда, сорвавшись с очередного витка, я полечу к тому клубку, сплетению, тупику, на-

встречу тому мгновению, когда всё потухнет, смолкнет, превратится в ничто; когда я перестану существовать, пережив в очередной раз своё бессилие, неотвратимость катастрофы, свою конечность. Очнувшись, я не испытываю облегчения. Я констатирую факт: продолжение следует.

Я опять проявил силу воли и не спился в ивалидной коляске, не оказался на вокзале, под мостом. А может, зря. Может, борьба за кусок хлеба наполнила бы мою жизнь смыслом. Я проявил усердие и выучился игре на гитаре - времени было достаточно. Зачем? Я бередил себя душещипательными мелодиями, листал поэтические сборники, искал в них подходящие тексты, пел, записывал в своей импровизированной примитивной студии звукозаписи кассеты со своими песнями, дарил их 15-тилетним комсомолкам, которые, взяв надо мной шефство, приходили меня наведывать. Но, как правило, только один раз.

Десять лет спустя после того рокового дня, как я стал инвалидом, я представлял собой жалкое зрелище: обтянутое кожей отощавшее тело, деградированные мускулы, лысая голова с провалившимися глазами. Ненавидя их жалость, я умышленно стригся наголо, выставлял напоказ свои костлявые ноги, сбрасывая, как бы невзначай, одеяло с колен. Комсомолки уходили плакать на кухню, возвращались с покрасневшими глазами, посидев для приличия ещё немного, прощались и больше не приходили. Зато приходили другие, заинтригованные рассказами подруг, приводили с собой каких-то меланхолич-

ных парней, любителей-гитаристов. В городе обо мне заговорили.

Был бы я здоров, наверное, мои песни никого бы не заинтересовали. А так - интересная судьба: ивалид, калека, циник, начитан, озлоблен, а внутри – израненная живая душа, теплится в неживом уже теле. Ах, как драматично! Разве пел бы он такие песни, если бы умерла она, бессмертная? Любят нас, калек со страдающими глазами. Я играл роль, которую от меня ожидали, так как искал разнообразия. Устав от одиночества, выдумывал себе психологические игры, наслаждался переменой чувств, написанных на лицах моих посетителей, проверял их реакцию на разные типы моего поведения. Короче, устраивал любительский спектакль в театре одного актёра. И не было в этом ничего зазорного. Люди привыкли к манипуляции, а меня это развлекало.

Я люблю театр. В каждом хорошем спектакле отражается жизнь. В жизни каждый играет роль, многие роли, часто плохо играет, но ожидает комплименты и аплодисменты. Природная непосредственность, безыскуственность встречаются редко, да и встречаются ли вообще. Может, у детей до трёх лет. А в пять лет, а то уже и раньше, они начинают кого-то копировать, кому-то подражать. Современные дети - это киношные дети, марионетки телевидения. Взрослые их поощряют и подыгрывают им. Даже наедине с собой человек не может поручиться за то, что ведёт себя непринуждённо. (Слово-то какое хорошее. Принуждают нас, насилуют.) Откуда мне знать, не произношу ли я в минуты отчаянья или

восторга фразы, соответствующие моменту и вложенные мне в уста невидимым драматургом, не веду ли я себя по образцу, увиденному в кино, прочитанному в книге. Все мы копии, жалкие копии. А когда же проклёвывается моё настоящее Я? В моменты нестерпимой физической боли, с искажённым лицом, со звериным криком в глотке? Или на унитазе, сосредоточившись на естественных физиологических процессах? Потеряв над собой контроль, человек превращается в животное, контролируя, начинает играть роль. И я - не исключение, и не чудовище. Разница лишь в том, что я играю свои роли осознанно.

Несколько лет этот театр занимал мой досуг. Пока не прискучило. Пока я не научился предугадывать тип своего нового знакомца, как только он появлялся на пороге. Не такие уж мы единственные и неповторимые. Манипулировать людьми интересно, когда они это замечают и всё-таки продолжают играть навязанные им роли. В противном случае у меня пропадает азарт. Избавиться от посетителей не составило мне особого затруднения. Подавляющее большинство было шокировано моим видом и поведением и больше не появлялись в нашей квартире. Осторожные предчувствовали, что общение с таким только иссушит и опустошит, и тоже исчезали из моей жизни вскоре. Любопытные и поверхностные пытались обогатиться опытом моего страдания, моими знаниями, но наткнувшись на стену моего сарказма, сбитые с толку, быстро отказывались от своей цели. Милосердных я сам гнал с порога, узнавая таковых по дешёвенькому, как и их

оптимизм, букетику цветов и пластиковой сумке с фруктами.

Хотелось равных. Искать их среди инвалидов-спинальников было бесполезно. На курортах и в больницах я повидал их уже немало, насытившись разговорами с наивными оптимистами, лицемерами, озлобленными эгоистами, смиренцами по-христиански и философами по нужде. Ни к одной из этих групп я себя не относил. Рано или поздно все разговоры с ними сводились всё к тому же вопросу: почему я? А так как ответа на этот вопрос не было, знакомство заканчивалось на пессимистической ноте.

Даже те, кто по своей вине стали инвалидами, не соглашались, что заслужили такой участи. Все, кто не спивался, не ударялся в религию и не кончал жизнь самоубийством, вели бессмысленное, жалкое существование, опекаемые родственниками, если таковые были, или прозябали в домах инвалидов. Если повезёт, проводили пару недель в году в санаториях для спинальников. Там и заводили знакомства, потом переписывались, делясь опытом своей искалеченной жизни.

Я искал другого общения. В памяти опять и опять всплывали разговоры с Алей, которая уже много лет не давала о себе знать, не писала, не звонила. Тогда я ещё мог спать и видел сны. Как она входит в мою комнату, улыбается мне, как привычному знакомому, не удивляется моей бритой голове и истощённому лицу, садится у зеркала, распускает волосы и начинает расчёсывать их медленными, плав-

ными движениями. Потом встаёт, снимает через голову платье и одевает длинную белую рубашку. Садится на краешек кровати и гладит мою колючую голову, лицо, руки, лежащие поверх одеяла. Всё так же плавно, как в замедленном кино. В первый раз, не знаю, сколько лет назад, я отдался во сне этой ласке, её рукам, скользнувшим под одеяло, лежал неподвижно, не препятствуя хлынувшей из всех, вдруг оживших, клеток моего организма, тёплой волне, ритмично нарастающей, усиливающейся, стремящейся вырваться наружу. Я позволил ей это, на мгновение ощутив облегчение и радость тёплого живого тела. Резко пробудившись, я потрогал под оделом свои ноги и выше, всё, что ещё минуту назад казалось таким функционирующим, но ощутил только мокрую простыню между ногами и хлынувший из под одеяла едкий запах мочи и пота больного, напичканного лекарствами человека, увлекающегося к тому же алкоголем и курением.

Утром я отказался от помощи матери и хотел сам пересесть в своё кресло, чтобы уничтожить следы своих ночных грёз. Но кресло, как назло, стояло у противоположной стены, и мне нечем было притянуть его к себе. Мать, привыкшая ко всему во время моей болезни, помогла мне пересесть в кресло, переодеться и поменяла постель. А вечером решила подложить под простыню клеёнку. Тогда я ударил её в первый раз.

В следующий раз я успел вовремя проснуться. А Аля приходила в моих снах всё реже или уже не ласкала меня, а ложилась рядом, как жена к много-

летнему супругу, и засыпала. А я боролся с волной. Каждый раз, проснувшись, я хотел увидеть рядом с собой женщину, какую угодно, только не Алю. Вернее, хотел он, лучший друг каждого мужчины, и мои руки.

Долог до вечера день инвалида. Можно читать или учить языки, музицировать или слушать музыку, даже готовить обеды на радость матери. Ведь могу же я передвигаться на коляске по кухне, и руки у меня есть, и довольно ловкие руки, выполняющие теперь двойную функцию. Можно названивать знакомым, отвлекая их от настоящих дел. Мои же дела были не настоящими. Это были только уловки, чтобы обмануть себя, отвлечь от мысли о бесцельности своего существования. Оптимистические попытки матери внести смысл в моё прозябание меня раздражали и приводили к ссорам.

- Валера, давай будем вместе учить английский язык. Я давно уже собиралась, да всё как-то откладывала. Сам знаешь, как у меня со временем.

- Давай, - притворно и нарочито-восторженно соглашался я. - А когда выучим, будем устраивать чаепития и светские беседы на ломаном английском языке с твоими недоделанными учителками.

Мать неловко смеялась и уходила, стараясь не показать обиды. Когда я брался за гитару, она подсаживалась и просила сыграть что-нибудь из Окуджавы, пытаясь подпевать. Я нарочно брал не те аккорды, долго настраивал гитару, делал вид, что не могу подобрать мелодию, испытывал её терпение,

чтобы избавить себя от её навязчивого присутствия и поддельной воодушевлённости, которой она хотела меня заразить. Или же я запевал, подражая её манере, её любимый романс „Давайте говорить друг другу комплименты“, кощунствуя, переделывал строчки: „Давайте обзывать друг друга бранным словом, чтоб поругавшись раз, не помириться снова“.

Её наивные попытки завязать философские дискуссии или обсуждения книг доводили меня до бешенства.

- Избавь меня, бога ради, от твоей доморощенной философии и бабской логики, - отвечал я на какую-нибудь заумную фразу. Не стеснясь в выражениях, находя самое больное место (спасибо дневнику самоанализа и самокритики), я упрекал её в недалёкости, поверхностности суждений и непоследовательности. Шокируя её своим лексиконом, пренебрежительностью и озлобленностью, добивался наконец своей цели: она надолго оставляла меня в покое. Если это можно было назвать покоем.

Во всём, что со мной произошло, я винил мать. Кого же ещё?! Чужим не было до меня никакого дела. В бога я не верил. А себя мне винить было не в чем - я не добровольно переломал себе хребет, не я выбирал себе эту судьбу и этот характер. Это она выбирала мне отца, которого не было ни до ни после его смерти. Она передала мне свои и его меланхоличные гены, сделала меня эгоистом и циником. Никто не спросил - зачали, родили - живи! Справишься - молодец, похвалят, свалишься - затопчут или, в

лучшем случае, пожалеют.

Не будь её дурацких принципов: „Настоящие знания всегда пробьют себе дорогу!“ - я бы поступил в институт и не стал бы инвалидом нашей родной Советской Армии. Если бы она денег пожалела, я бы ещё понял - их вечно не хватало. Но ради принципа! Она, видишь ли, попрошайничать не любит. За себя никогда не просила, а вот пробилась, выучилась, трудится на любимой работе. Просто не верилось, что в этом обществе прагматиков ещё такие динозавры встречаются. И такой вот динозавр называется твоей матерью. Куриная слепота - её болезнь. Ни её страдающие глаза, ни головные боли, ни слёзы не могли вызвать у меня к ней жалости. Других чувств к ней я тоже не испытывал. Нет, мне не в чем себя винить.

Как можно заставить себя любить? Из чувства долга? Его тоже не было. Иногда я просто недоумевал: как могло случиться, что я так давно уже живу под одной крышей с этой, абсолютно чужой мне по духу женщиной. Если бы не мой страх перед домом инвалидов, я бы её давно бросил. Она же меня не бросала, видела, наверное, во мне свой крест. Не думаю, что она меня ещё любила. Как можно? Но заботиться заботилась. Вела утомительную переписку с военкоматом и разными ведомствами, хотела даже судиться, но в конце концов сдалась, согласившись на пожизненную для меня пенсию. Меня же это всё не интересовало, как и судьба лейтенанта, отделавшегося лёгким испугом.

Однажды, правда, мать удивила меня своим предложением устроить меня на заочный факультет какого-то технического ВУЗа. Надо же, снизошла, предала свои принципы, пошла за меня просить, понесла документы с моего позволения. Мне нужно было стать инвалидом, чтобы она наконец усвоила, что я в ней нуждался. Но было уже поздно. В её моральной поддержке теперь не было необходимости. Инвалида Советской Армии, да ещё и на заочный факультет, взяли бы и без её помощи. Но из этой идеи всё равно ничего не вышло. Возить меня на семинары и лекции, которые надо было два раза в год по месяцу посещать, было некому, моего запорожца-инвалидки у меня тогда ещё не было. Техникой я не увлекался никогда, и сидеть в одиночестве и зубрить для экзаменов не было смысла. Даже в случае успеха, кто бы взял меня потом на работу?

Но кое-какая польза от этой затеи всё-таки была. К нам стал приходить знакомый матери, которого она попросила подготовить меня к поступлению в институт. Инженер-информатик, довольно-таки большая редкость в нашем городе, он был помешан на вычислительных машинах, компьютерах, программах и предложил мне навестить его в институте, где он после работы ещё преподавал на вечерних курсах. Компьютеры медленно входили в моду, но были непростительной роскошью даже для учреждений и иинститутов. Я заинтересовался, поехал, вернее был отвезён.

Мой знакомый твердил что-то о ноликах и единич-

ках, пытаясь мне популярно объяснить принцип работы компьютера, показывал разные трюки с вопросами и ответами. Так он предложил мне задать дату моего рождения, и компьютер выплюнул день недели, когда я родился - воскресенье!

- Не может быть, - я был уверен, что родился в среду. - Врёт ваш компьютер.

Информатик назидательно ответил:

- Компьютер врёт только, если в него заложили неверную информацию. А эта программа десятки раз проверена. Ошибки быть не может.

Дома я заглянул ещё раз в альбом с детскими фотографиями. На обложке - стихотворение, вдавленными в неё золотистыми буквами: „Чтобы ты малыш уснул, на домбре звенит Джамбул...“ и так далее, под ним колыбелька, а в ней моё первое фото в голопузом состоянии и где мне уже не меньше года. Хорош новорожденный! На первой страничке занесённая её почерком - дата моего рождения, в скобках - среда, и прочие важные данные: вес, рост, когда появился первый зуб, когда было сказано первое слово, мои первые шалости, первые болезни.

Как могла она забыть день недели, когда родился её единственный сын? Мне снова вспомнилась свадебная фотография моих родителей. Они меня адоптировали. Я знал, я чувствовал это. Но хотел в этом убедиться. Компьютеру я как-то не доверял. Где бы раздобыть старый календарь или газету почти тридцатилетней давности?

На другой день я попросил мать помочь мне добраться до ближайшей библиотеки, чем её страшно обрадовал, а вечером устроил ей допрос, подсунув под нос альбом. Компьютер был прав, ошибалась она. Когда же я спросил её об этом - Как это могло произойти? - она только недоумённо пожала плечами, будто удивляясь, что я занимаюсь такой чепухой. А по поводу фотографии сказала:

- Так было принято, до году детей не фотографировали, пока силёнок не наберутся. Предрассудок такой был. Дети до году часто умирали.

- С каких это пор ты в предрассудки веришь?

- Мы тогда жили у твоей бабушки, она запретила.

- Врёшь ты всё. Тебе повезло, что бабушка уже умерла, а то бы я вывел тебя на чистую воду.

- Что ты от меня хочешь? - мать истерично всхлипнула. - Что ты хочешь всем этим сказать?

- Ты это прекрасно знаешь, лучше меня. Врёшь ты всё, всю свою жизнь врёшь.

- Валера, я, конечно же, делала ошибки... Я много работала. Ты же знаешь, отец часто уходил от нас, а я всё тащила на себе. Может, я была тебе плохой матерью, но я...

- Ты была никакой матерью. У тебя никогда не было для меня времени. И хотя мы никогда не расставались, тебя никогда не было рядом. Я рос, как трава в лесу. После школы я был часами один, вечерами, когда ты писала свои планы, тоже, а потом ты

хотела, чтобы я оставил тебя в покое, чтобы ты могла без помехи почитать какой-нибудь душещипательный романчик или посмотреть дурацкий фильм. И я оставлял тебя в покое, не хотел огорчать. Ведь мама так устала! А потом привык к тому, что тебе не до меня. Не понимаю, над каким-нибудь вымышленным, сентиментальным фильмом ты могла плакать, а меня ты никогда не жалела, просто не замечала.

- Это неправда. Помнишь, мы перед сном книжки читали. Ты всего Чуковского и Маршака наизусть знал. И тогда, в отпуске, на реку, в пять утра, раков ходили ловить. И Новый год всегда весело справляли, и подарки...

- Ну, напрягись, может, ещё что-нибудь вспомнишь. Да, ты забыла упомянуть, что завтрак, обед и ужин для меня готовила, и одёжку покупала, и деньги на кино иногда давала.

- А тебе этого мало? Вот, когда мы росли....

- О, боже, ты ещё примитивнее, чем я ожидал. Расскажи ещё, что отец вас розгами бил, а мать читать запрещала, гнала на работу в огород или в курятник. Нет, лучше не надо, а то я сейчас расплачусь.

Я отвернулся к стене, демонстрируя, что разговор на этом закончен. Мать пошла на кухню плакать или писать свой дневник.

С этого дня я больше никогда не называл её вслух матерью.

С этого дня у меня не было по отношению к ней никаких угрызений совести. Не то чтобы я окончательно убедился в том, что не родной ей. Да и какая разница. Просто, высказав ей свою обиду и боль и не услышав в ответ сносных аргументов, я окончательно поверил в свою правоту и её вину.

С этого дня я остался совсем один.

Время. Опять, как в детстве, оно потеряло очертания и ритм. Прозябание, бессонница. Время - деньги, которых нет. На поездку, на новую гитару, на сигареты.

В юности мне казалось, я научился владеть собой так, что время не могло изменить моей сущности, моего настроения, моего физического состояния. Потом была Аля, и время приобрело статус ожидания, тянулось длиннючими часами под названием: до неё, после неё, а в промежутке мчалось короткими минутами встреч с нею. Потом новый удар - одна секунда - и я стал инвалидом, и всё, чем я был прежде, перестало существовать. Время - это состояние, моё вечно меняющееся я. Теперь оно называлось одиночеством.

Тяжёлый дневной сон сменялся бессонной ночью. А так как большинство нормальных людей бодрствует днём, я иногда месяцами ни с кем не общался. Я окунулся в своё одиночество даже с каким-то мазохистским наслаждением и ждал, когда начну сходить с ума, мечтал об этом, только бы перестать осознавать это своё состояние, только бы отключить работу мозга.

Но сойти с ума мне видно было не суждено. Всему своё время. Мне предстояло ещё много раз умереть и заново родиться, опровергнуть и подтвердить свой опыт, каждую циничную мысль, проверить ньюансы каждого противоречия, убедиться в том, что и в чувстве правоты нет никакого удовлетворения, смысла и правды.

В то время без времени меня начали мучить рифмы. Гены проклюнулись или воспитание сказалось! В голове звучали ритмичные строчки и искали себе пару. Издеваясь над своим стихоплётством, я всё-таки был рад новому занятию, испытав что-то вроде вдохновения, ожесточённого, озлобленного вдохновения. Часами я искал подходящее слово или меткое выражение, но всё мне казалось банальным, избитым, уже где-то встречавшимся, не отражающим сути. Так, например, я пытался образно выразить степень своего добровольно-принудительного заточения. На языке вертелась строчка из стихотворения Маяковского и мешала думать: „Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека.“ Когда-то это сравнение казалось мне очень сильным. Теперь же я понимал, что оно не отражает моего состояния. Одинок-то он одинок, но ведь идёт же он к другим, хоть и слепым, значит, на что-то ещё надеется. А когда дойдёт, то уже не будет один, а слепые получат один глаз. Один на всех, но всё-таки. Мне же хотелось выразить последнюю точку отчаяния и безнадёжности, и потому смирения и пассивности. Рождались идиотские сравнения, как например, эти:

Одинок,

Как последний бессовестный гость,
Надоевший усталой хозяйке…

Да разве ж он одинок, если его не гонят? И чего это он сидит допоздна? Видно, ещё чего-то ждёт от хозяйки. А она, может быть, и предложила бы, да просто устала. Нет, не пойдёт. Глупо, невыразительно.

Как свет давно потухшей звезды...

- избито, хотя и точно отражает бессмысленность ностальгических порывов.

Как последний осознанный крик
Умирающего человека…

- неверно. Сколько миллионов или миллиардов на земле за минуту умирают? И каждый, небось, кричит: Не хочу! Почему я?

Одинок, как набор хромосом
У последнего мамонта в генах...

Набор хромосом, по-моему, никогда не повторяется, так что мамонт тут не причём. Не хватает знаний в биологии. Надо заглянуть в энциклопедию. Да, издеваться над чужими стихами легче, чем создавать свои.

Как пустой и заброшенный дом
Австралийского аборигена…

- уже лучше, они вымирают или уходят в глубь континента. Хотя аборигены не живут в домах. Но

зато с генами мамонтов рифмуется. Это, пожалуй, оставлю.

Для последующих строф сильных сравнений не хватило. Не то, всё так банально, нелепо, подражательно. Нет слов, одни мысли.

„Как последний день перед концом света“ и *„Как „ом“ буддиста в стране атеистов“*, я тоже отмёл, грустно посмеявшись над последней рифмой, придя к выводу, что так одинок, как я, как это я внутри каждого из нас, вообще ничего не может быть.

Мрачные ночные мысли, которыми не с кем было поделиться. Меня раздражали красивые фразы, вроде этой - мы все на земле одиноки - и люди, которые ими бросаются, не понимая, что за ними кроется. Ведь причины и степень одиночества бывают разные. Один одинок, потому что влюблён в свою неповторимость, сложность, непонятость, носит своё одиночество, как знамя, и горд. (Кого это мне напоминает?) Но это ещё не одиночество, это - мания величия, болезнь. Другой, в силу своего мерзкого характера, конфликтует всю жизнь, обвиняет во всём окружающих, наслаждается драчкой или страдает, как мой отец, - всё равно. Это тоже ещё не одиночество. Это отсутствие самокритики, недалёкость, эгоизм.

А вправе ли я сказать о себе, что я одинок? Захоти я - и вокруг меня затолкутся опять какие-то люди, чтобы опекать, развлекать, переставлять с места на место, копаться в моей душе и выполнять причуды. Но куда бежать от этой пустоты внутри себя? Да

ещё, если тебя ноги не несут. В моей жизни наступил момент, когда я остался один на один со своей судьбой. Меня наказали тем, чего я осознанно или подсознательно искал, противопоставив себя всем: матери, друзьям в школе, потом в армии. Мою игру в театр, короткие моменты влюблённости я называл своей слабостью и старался избавиться от чувства привязанности, заинтересованности. И мне это удалось. Виновен или нет, но я остался один, без интереса к окружающим, без иллюзий, без будущего. А внутреннего покоя не приобрёл и бесстрастной созерцательности тоже. Кто может понять, прочувствовать до конца это состояние? Дешёвые оптимисты или чахлые нытики среди инвалидов? Здоровые, жизнерадостные ходячие или неудачники среди них? Не было мне равных в одиночном бою. К кому примкнуть? К сильным или озлобленным, к истеричным хлюпикам или к философам-примиренцам? Нет, уж лучше я останусь один и буду дальше играть роль постороннего наблюдателя. А ещё лучше, шахматного короля, которую задумал и не доиграл когда-то. За что боролся, на то и напоролся. Одиночество стоящего над толпой, вне толпы - моя судьба, мой крест и моё отличие. Мне надо с ним помириться, осмыслить и принять. Ни в коем случае нельзя расслабиться и подчиниться ему. Где же мой всепобеждающий цинизм? Вспомнился анекдот:

- Не хотел бы быть извилиной вашего мозга.

- Почему?

- Боюсь одиночества.

Почему люди боятся одиночества и что они называют одиночеством? Всё очень просто, логично, без сентименталности: одиночество - это когда один на один с самим собой. А значит человек боится прежде всего себя. Заглянет к себе на дно и увидит такую зияющую пустоту, что даже смерть покажется избавлением. Отсюда и бегство: к людям, в благотворительность, в пьянство, в наркотики, в работу, в семью, куда угодно. Потому что страшно глядеть в свою пустую душу, на дне которой бессмыслица всего происходящего отражается. Чёрной дырой, возвратом в недифинируемое нечто, вернее, ничто, из которого мы все вышли. Бессмысленность всего происшедшего и происходящего перед лицом смерти - избито, но верно. И доходчиво. До этого нужно только дойти. А память нам дана, чтобы заполнить эту пустоту, чтобы не сойти с ума. Память в нагрузку за мужество обладания сознанием.

Внезапно пришла мысль: я одинок, как бог. Только из-за отчаянья мог он додуматься до такого: создать человека, несовершенного, физически ограниченного в возможностях, но наделённого божественным сознанием. По образу и подобию создал. А значит страдал так же, как человек, осознав свои границы. Одиночество его заело, вот и расплодил нас, как кроликов, а потом решил, чужие они мне все какие-то, и выдумал себе родню - сына, и мучил его ещё сильнее, чем любого другого, чтобы в кумовстве не обвинили. А значит, кого бог выбирает, тому и страдать. А выбирают не каждого, а только тех, кто достоин, кто потянет, кто поймёт и не сломается в два счёта. Ведь не садист же он, надеюсь. Так что,

если страдаешь, то стоишь ближе к богу, его фаворит, так сказать. Миссия особая на тебя возложена. Но какая? Спасти человечество? Но если сыну не удалось, то где уж нам, дальним родственникам. И не много ли спасителей на земле развелось? Одна половина страдает, чтобы другую, нестрадающую, спасти? А мне наплевать на ту и на эту половину. Не впечатляет, привык, все привыкли. И если бы каждый был честен с самим собой, то признался бы, что пустяшная головная боль, но своя, родная, мучит нас больше, чем чужая, самая страшная трагедия, увиденная по телевизору и забытая через пять минут, потому что передача закончилась и позвали на обед. Я страдаю сам по себе и за себя. Только вот за что, не знаю. Миссии особой я у бога не просил.

Да что же это я, всерьёз, что ли, о боге? Неужто вера пробивается сквозь толстую кожу атеиста? Может, откроется ещё истина? Может, почитать библию?

Помню, довелось мне познакомиться с одним из этих примиренцев среди инвалидов. То, как он мне представился, вызвало у меня непроизвольный смешок.

- Павел, слуга Иисуса. Здесь я случайно. С нетерпением жду встречи с богом.

Я сначала подумал, что он здесь, в больнице, случайно. Но, как выяснилось, он на земле долго оставаться не собирался и свою инвалидность воспринимает, как начало своего пути в небесную обитель, и благодарит за неё каждый день в молитвах. Хотелось бы мне его лет через десять опять

встретить, когда поймёт он, что сердце у него крепкое и аппетит не подкачал, и жить ему ещё, может, очень долго, да всё по больницам, а под конец - в доме инвалидов. Вот тогда он, пожалуй, действительно начнёт ждать встречи с богом. А тогда я ему не поверил, как не верил всем этим сектантам, и потому не завидовал.

Нет, на бога я не надеялся. Не люблю попрошайничать. И у меня есть принципы, например, никогда не признаваться в своей слабости. Шахматный король - тоже самая слабая фигура на шахматной доске, но и самая главная. Нужно только применить логику, разработать тактику, а пешки - на то и пешки, чтобы выполнять приказания.

Логика, даже самая субъективная - замечательная вещь. Она избавляет от эмоций, а иногда и от дилетантских стихотворческих порывов.

Тексты для своих песен я опять искал у классиков, избавив свою внутреннюю жизнь от свидетелей.

Глава 9 Дурман

Спасительный дурман или дурь, на языке посвящённых. Дурман, укорачивающий жизнь. На время бездумной лёгкости и дневного сна. Я сразу же полюбил его, поняв, что в нём моя погибель. Прикованному к постели, запертому в четырёх стенах, ограниченному кругом своих знакомых, состоящих большей частью из пионервожатых, школьников и таких же, как я инвалидов, был он мне долгое время недоступен. Я почувствовал его целительную силу, заглянув в глаза Андрею, своему соседу по палате в санатории спинальников.

Жизнь в санаториях и на курортах протекала по раз и навсегда установленному распорядку дня. Подъём, туалет, завтрак, обход, процедуры, массаж, обед, послеобеденный сон, ужин, вечерний обход, свободное время. После ужина и обхода медперсонал оставлял нас в покое - пересмена. Пациенты собирались в кружок, каждый на своей коляске, чтобы похорохориться, поделиться своим поддельным оптимизмом, поучать новеньких. Часто говорили о каких-нибудь чудодейственных методах лечения.

Ни я, ни Андрей в этих разговорах участия не принимали. Я оставался в палате и читал, он выезжал в сад покурить самокрутку и возвращался счастливым, оживлённым, разговорчивым балагуром и шутником, распространяя по палате незнакомый мне, тошнотворно-сладковатый запах. Дурачился, показывал трюки с инвалидным креслом и

всякие фокусы, рассказывал анекдоты. Полночи напролёт он развлекал меня рассказами (должен признаться, что действительно развлекал) о своей прошлой и настоящей жизни, богатой похождениями и афёрами с медсестричками, соседками и кузинами. Он смотрел на всё легко, называл свою инвалидность подарком судьбы: „Сколько лет ещё пришлось бы вкалывать на шахте, а теперь отдыхаю на государственные средства.“

Вечерами его навещали друзья, неизвестно откуда взявшиеся в чужом городе, которые вели себя так же развязно и шумно, как Андрей, приносили ему газеты, журналы, табак и какие-то пакетики, которые он прятал в своём тайничке под инвалидной коляской, приговаривая: „Всё моё ношу с собой.“ Днями он много спал, а если не спал, был раздражителен, ворчал, когда его будили на обед или везли на процедуры, массаж или гимнастику. В серьёзные разговоры он не вступал. Только однажды, накануне отъезда домой, произнёс он, пожалев, видно, товарища по несчастью, свой заключительный монолог, изменивший мою последующую жизнь.

- Чего ты всё думаешь, голову ломаешь. Судьбу не перехитришь, только самого себя замучаешь. Что, чувствуешь себя обузой, калекой, букашкой, которую до конца не придавили, жить оставили? А зря. Все люди букашки, и нечего убиваться. У меня до аварии была жена, прицепилась, как пиявка, всё перевоспитывала, плакала, грозилась уйти. Так она хуже всякого инвалида висела у меня на шее камнем. Теперь и след простыл, улетучилась вместе

со своей любовью. Так что, всё не так уж сложно: они на двух ногах, а мы на двух колёсах. Вот и вся разница. Мы живём, людей обременяем, и они тоже. Они жизни радуются, если умеют, и нам не запрещено. А радости, ей иногда помочь надо, чтобы пришла, добралась до нас. Она ведь тоже инвалидка. Сам знаешь, сидя взаперти, много не переживёшь, не узнаешь. Друзей тебе надо искать, настоящих, верных друзей, которые тебе и штаны наденут, и коляску на лестницу затащут, и бабу послушную приведут, если между ног ещё шевелится. И не бойся брать. Сегодня ты у них в долгу, а завтра они у тебя. На этом мир держится. А все эти интеллигенты собачьи, что у себя и у других в душе копаются и разные терапии над собой позволяют, они ещё похуже таких, как я. Смотрит на такого ителлигентика мать или жена и трясётся, как бы он с балкона не прыгнул. А другая, может и ждёт, когда спрыгнет, так он ей надоел своими сложностями. А всё от того, что внушил он себе - надо бороться, оставаться человеком, жить духовной жизнью, если физическую отняли. В ней, в духовной, дескать, истинные радости. А какая тебе духовная жизнь, если у тебя запоры каждый день или прямая кишка из пупка торчит. А я говорю, спать нужно больше и меньше есть, а проснёшься - радоваться. Нет радости, не идёт радость - подмоги. А потом опять спи. Вот и вся правда.

На другое утро Андрей уехал, оставив мне в подарок три самокрутки, свёрнутые кульком.

- На вот, курни, может говорить да смеяться опять

научишься.

Я научился. Не сразу, постепенно. После первой я не почувствовал ничего, после второй потянуло на сон. Но желание испытать это чувство лёгкости, которое так и пёрло из Андрея, перебороло страх, и я, дождавшись ночи, выкурил на балконе и последнюю.

Позже мне часто приходилось слышать, как какой-нибудь прыщавый малец восхвалял эту травку-коноплянку, сильно преувеличивая. Я заметил, что действует она на всех по-разному: на кого сон навевает, на кого - мрачные мысли, кого в дурака превращает, а кого в философа. Многие привыкают к ней быстро и уже от одного кулька веселеют, балагурят, дурашливо смеются, другим же нужно две и три самокрутки, чтобы ощутить действие. Такие, как правило, спят потом по десять часов непробудным сном. Тем сном, которого мне так не хватало. Со временем я научился дозировать её так, чтобы переход из дурашливо-беззаботного состояния в беспробудную многочасовую спячку происходил почти незаметно. Но это было позже, значительно позже. Тогда, в санатории, я испытал наконец долгожданное чувство лёгкости, когда расплываются очертания предметов, теряются контуры собственного тела, разрастаясь и сливаясь с окружающим тебя пространством, когда голова проясняется и каждая мысль, каждый её ньюанс додумывается до конца; когда умирают все сомнения и нет ничего настолько важного или сложного, чтобы стоило над этим задумываться долее одной секунды.

Это было то, чего я искал всю свою сознательную жизнь. Испытав это чувство однажды, я не отказался бы от него никогда.

Всё очень просто. Победит страх, сработает инстинкт самосохранения, значит, не притронешься, победит любопытство - попробуешь. Понравится - втянешься, не понравится - бросишь. Мне понравилось.

Приехав домой, я первым делом разыскал свою телефонную книжку. Нужно было возобновить знакомства, которые бы мне обеспечили определённую свободу действий. Начнём с пешек, остальные фигуры со временем проклюнутся. Я объявляю открытие турнира. Мне терять нечего.

За несколько месяцев ситуация моя кардинально изменилась. Я стал искать встреч в среде музыкантов, художников, врачей, не отказывался от приглашений, чем порадовал ещё ничего не подозревающую мать - сынок ожил после курорта. Меня возили на такси на вечера творческой молодёжи, в клубы, в школы и институты, где я пел свои песни, и привозили домой поздно вечером, часто невменяемого. С тех пор меня всегда сопровождали три-четыре парня, мои креслоносители, которые служили мне верно и молча, довольные тем, что вокруг меня всегда собиралось много народу и было что выпить.

Одушевление матери по поводу моего возрождения вскоре сменилось беспокойством, которое отражалось на её постаревшем лице нервным подёрги-

ванием, а затем и страхом. В квартире у нас постоянно околачивались какие-то типы, которых ни она, ни я толком не знали, но выгнать их она не смела, боясь навлечь на себя мой гнев. К нам перестали ходить её знакомые, родственники от нас отвернулись, соседи перестали здороваться. Было от чего: в квартире вечно гремела музыка, подозрительные личности со стеклянными глазами днём и ночью входили или покидали наш дом.

Мы жили теперь в большой трёхкомнатной квартире на первом этаже, которую мать отвоевала у исполкома. Квартира была приспособлена для инвалида: не было лестниц и порогов, вместо ванной - душ со стоком в полу, где я мог без посторонней помощи мыться. Мне принадлежали две комнаты: одна побольше, с музыкальной установкой, двумя диванами, зеркальным шкафом, столом и несколькими стульями для моих многочисленных посетителей, и спальня, куда вход посторонним был запрещён. У матери - кухня, откуда ей часто приходилось спасаться бегством, если кто-нибудь из назойливых или подвыпивших приставал к ней с разговорами. И тогда она уходила в свою спальню и выходила только, если я её звал или если звонили в дверь. Иногда она брала из прихожей телефон и недолго говорила с кем-то за закрытой дверью. Но и это ей пришлось вскоре оставить, так как мне или кому-нибудь из моих друзей постоянно должны были позвонить или же мы звонили кому-нибудь. Я удлинил кабель, и брал с собой телефон в ту комнату, в которой находился.

Я уже давно научился обходиться без её помощи и со временем перестал замечать её присутствие. Она же, устав от борьбы с моими прихотями, кажется, перестала страдать и удивляться, не поддавалась ни на какие провокации, ушла, так сказать, в подполье. По привычке или из чувства долга она всё ещё суетилась на кухне, варила, убирала и мыла, вела какую-то переписку, чтобы выбить для меня новые льготы, добилась наконец, что мне выделили запорожец-инвалидку к восторгу моих креслоносителей, и даже покупала пиво, если я её об этом просил. Вечерами же она запиралась в своей спальне, чтобы не мешать мне и моим друзьям развлекаться.

Я был рад такому развитию, ведь так было не всегда. В самом начале моей болезни мать служила мне кухаркой, санитаркой и психологом, не роптала на судьбу, не жаловалась, во всяком случае при мне, подругам. Не подавая вида, что страдает от моего деспотизма и озлобленности, она говорила со мной часами, пыталась отвлечь от мрачных мыслей или просто вовлечь в разговор, иногда приводила в дом каких-то интересных с её точки зрения людей (не знаю, чем она их заманивала), покупала билеты в кино или в театр. Когда же я замыкался и молчал неделями, гнал её из комнаты, рвал билеты или швырял в неё всё, что попадало под руку, она всё ещё терпела, уходила в другую комнату, а на другое утро вставала с опухшим лицом и заплаканными глазами. Нервы у неё не выдержали, когда я начал пить, требовал от неё денег или гнал в магазин за бутылкой вина. Вот тогда она начинала причитать по-бабьи, как простая крестьянка, а то и билась в

истерике, повторяя многократно какую-нибудь молитвенную фразу: Господи, за что же это ты нас?

Но думаю, что самое страшное время для неё наступило, когда я научился обходиться без её помощи, когда мой гнев сменился равнодушием. Тогда она стала взывать к справедливости, упрекать и оправдываться, читать мне морали, даже кричать на меня или упрашивать.

- Что ты меня гонишь? Ты думаешь твои малолетние дружки будут тебя обслуживать? Да ты по миру пойдёшь, когда я помру. А ведь я помру скоро, если ты не перестанешь меня мучить.

В плаксивые дни она упрашивала:

- Не гони меня, сынок, не вычёркивай из своей жизни. В чём же это я перед тобой виновата?

- Виновата, хотя бы в том, что меня родила. Я тебя об этом не просил, - цедил я сквозь зубы и отворачивался к стене, думал про себя, злорадствуя. „Ну, каково это, когда человек на твоих глазах умирает, медленно умирает? Не так, как отец - раз и избавил тебя от обузы. Это тебе не выдуманные страдания. Все твои фантазии не стоят и выеденного яйца, и твоя надуманная стойкость характера тоже. Может, ты всё ещё думаешь, что страдать благородно? Спасать меня вздумала. Теперь поздно. Раньше надо было спасать. А то всё грызлась с отцом из-за пустяков, жила только для него, а теперь он умер. И я, и ты, только ты ещё не догадываешься об этом или не хочешь верить. Всё кончено, и твои попытки продлить это жалкое существование ни к чему не

приведут. Так будет всегда: я жертва обстоятельств, а ты - моя жертва. А сколько ещё продлится этот театр - я ещё не решил.“

С тех пор, как я играю свою партию, страсти утихомирились. Она играет свою роль слона, терпеливого, толстокожего, выносливого. Играет без азарта, но хорошо.

Годы или месяцы протекали в постоянных кутежах и попойках, не имеет значения. Лица менялись, особенно часто женские. Поняв, что от меня нечего ждать, подруги мои исчезали так же внезапно, как и появлялись, преодолев чувство жалости или вины, привязанности или зависимости. Несколько верных креслоносителей дневали и ночевали у нас дома, доставляли мне всё, что необходимо, сопровождали меня в поездках на Иссык-Куль и вылазках за город.

К числу моих знакомых принадлежали и фарцы, скупающие у меня импортные куртки, джинсы, часы - всё, чем расплачивались мои должники. В деньгах я теперь не нуждался. У меня был хоть и не совсем надёжный, но проверенный источник.

Я пристрастился к травке и почти не притрагивался к алкоголю. От неё наутро не болела голова, легче было держать всё под контролем. Те, кто принадлежал к элите: творческая молодёжь (в смысле, чего они только не творят!), комсомольская знать, избалованные богатенькие сыночки и дочки, тоже вскоре усвоили разницу. В нашем кругу сложилось мнение - пить вульгарно, хоть и не запрещено. Курить травку - стильно, но преследуется законом, это и

манило. Идиоты, которые мешали траву с алкоголем быстро превращались в развалины, некоторые переходили на иглу. Но у последних было одно преимущество: они хоть замечали, что с ними происходит. Мы - нет. Тогда ещё нет.

Времена, когда я напивался до беспамятсва, прошли навсегда. Сесть на иглу - не хватило мужества самоубийцы. Да и умирать мне совсем уже не хотелось. Та лёгкость, которую я так давно искал, пришла, как будто я вдохнул её с дымом той третьей, подействовавшей, приправленной самокрутки, оставленной Андреем в подарок. Я наслаждался этой лёгкостью. Иногда мне казалось, что я могу встать и закружиться по комнате в ритме вальса. Это, конечно же, была иллюзия (кружиться пришлось вместе с креслом), но очень приятная иллюзия, и я держался за неё некоторое время. А в голове постоянно звучала музыка. Свои лучшие песни, так полюбившиеся городу, я написал именно в этот период.

Мучившие меня всю жизнь сомнения, недоуменные вопросы, пародоксы и странности в поведении людей, бессмыслица моего существования - всё отошло на задний план, сознание моё прояснилось, ответов было не нужно. Всё так, как должно быть, всему своё время и значение. Моя личность во всей этой кутерьме не столь уж важна. Я всё страшно преувеличивал и видел в мрачном свете. Идиот! Сколько времени я потерял!

Я снова научился говорить. Долгими ночами мы вели нескончаемые, часто сумбурные и ничего не значащие дискуссии. Искуственно поддерживаемый

интерес к жизни отвлекал от самой жизни, но этого никто не замечал. У каждого, как я и ожидал, со временем сложилась своя роль. Держать их в повиновении было нетрудно. Большей частью держала она, сладкая и запретная. Мои креслоносители, пешки, были у меня на побегушках, выполняли маленькие поручения. Гонцы, они же кони, привозили траву. Офицеры оберегали от неприятностей. Не было только настоящей королевы. Зато было много подруг, хоть и не знатного роду, но покладистых и смазливых, вносящих в нашу мужскую жизнь хаос, но и разнообразие.

Время от времени один из нашей клики, благодаря стараниям или козням обеспокоенных родителей и соседей, попадал в наркологию или в милицию, но, как правило, появлялся снова несколько месяцев спустя. Нашу квартиру взяла на учёт милиция. Кто-то из соседей заявил-таки, что у нас вечерами собираются сомнительные личности. Богатенькие родители отмазали своих сыночков, некоторые откололись. У меня же было алиби - я инвалид, где уж мне в Киргизию ездить, коноплю собирать. Прикинулся несчастненьким. В первый раз поверили.

Дни, недели, месяцы, годы. Тяжело припомнить, что и когда произошло. Дело в том, что и в этой беспорядочной жизни появились однообразие и будничность, отец бы сказал - тягомотина. Как долго бы не длился дурман, рано или поздно наступает пробуждение и привыкание. Чтобы сократить часы своего дневного бдения, хочешь или нет, надо увеличивать дозу.

Пробуждение, томительное ожидание, раздражительность, нетерпение, беспокойство, телефонный звонок, появление гонца, ритуал, расслабуха, добавка, добавка, сон, пробуждение.

Других желаний и занятий у меня не было. Музыка замолчала. Зато вернулись мои детские ночные и дневные сны, с погоней за горизонтом и бесконечностью, с попытками заглянуть в будущее или оглянуться на прошлое, убежать из середины закрывающегося надо мной купола. В этих снах приходил ко мне уже знакомый мальчишка, зло смеялся и гнусаво дразнился: „А король-то голый, а король-то инвалид“.

В этих навязчивых снах я видел себя на тёмной сцене беспомощной куклой-марионеткой, освещённой лучом прожектора, с подвешенными на ниточках руками и ногами. Кто-то невидимый наверху дёргал за верёвочки, и мои ноги-плети нелепо подёргивались и снова подкашивались. Я пытался высвободить руки, чтобы прикрыть наготу ослепительно-белого впавшего живота и то, что безжизненно телепалось под ним, но, подчиняясь чужой воле, руки снова вздымались вверх, выворачиваясь наизнанку, как на дыбе, причиняя мне нестерпимую боль.

А мальчишка хохотал и хлопал в ладоши, как благодарный зритель.

Глава 10 Тонечка

15 лет с того рокового дня, как я стал инвалидом, я праздновал, как свой день рожденья. Мать, назвав это кощунством, ушла к подруге, а мы, человек пять на двух ногах и один на двух колёсах, развлекались, каждый на свой манер.

Я сидел в кресле в середине комнаты и мёрз, как всегда. У противоположной стены стоял зеркальный шкаф-витрина с хрустальными чешскими бокалами и вазами. Несколько семейных фотографий, обрамлённых позолоченными рамками, красовались на стене и на полках. На одной их них я - толстоватый, пышущий здоровьем, чубатый подросток. Я перевожу взгляд и вижу в зеркале, преломлённое через выпуклое стекло витрины и стаканов, искажённое, почти нереальное отражение своего скуластого, худого лица с провалившимися глазами - два чёрных из-за постоянно расширенных зрачков пятна. Из-под пледа выглядывают ноги-плети в шерстяных носках. Толстый пуловер с высоким воротником закрывает до подбородка тонкую шею. Сегодня, в день рождения этого урода и калеки, я, изменив привычке, немного выпил. В голове шумок, но я всё замечаю, всё слышу, регистрирую, хотя и без особенного интереса.

Слева от меня, в нише, стоит софа. На нём сидят двое: один из моих креслоносителей и совсем ещё юная девица, которую я вижу сегодня в первый раз, видно, не из пугливых. По движениям под пледом

можно предположить, чем заняты их руки. Справа, за столом, сидят трое, выпивают и говорят ни о чём.

В этот день я ждал к себе учительницу из какой-то школы, которую я пригласил, чтобы познакомиться и обговорить детали музыкального вечера, который она устраивала для своих чад.

„Мы готовим с ребятами вечер французской поэзии, а я слышала, что вы пишете песни на слова зарубежных авторов. Может, приедете к нам на вечер, споёте две-три песни? Мы вас на такси и привезём, и увезём“, - сказала она по телефону.

В её голосе были такие знакомые, назидательные и восторженные интонации - филологичка! Вопреки своему горькому опыту, я всё-таки пригласил её, и она пришла. В день моего второго рождения.

Зашла, окинула быстрым взглядом комнату, в полумраке, наверное, не сразу всё разглядела, растерялась. „Куда я попала?“ - отразилось на её лице. Четверо мужчин в тёмной комнате, бутылки на столе. В середине паук с маленькой лысой головкой, пьяные глаза, хихиканье девчушки в углу. Оглянулась на этот хохот, о чём-то догадалась, засуетилась:

- Может, я не вовремя, вы извините. Я приду в другой раз.

- Да ты не пугайся, здесь все свои. Садись, - приказал я.

Она присела на краешек стула возле моего кресла.

- Поближе, - снова приказал я и взял её руки в свои

ладони, посмотрел ей в глаза гипнотизирующим, бесцеремонным взглядом.

Она робела, не знала о чём говорить, а я наслаждался её смущением. Давно уже не попадался такой экземпляр. Смазливая, глаза, как у белки, как у Али. Аля могла бы так сегодня выглядеть, только немного старше. А эта - ещё совсем девчонка, почти как та, в углу, на диване. Я молчал, только улыбался, покачивая головой в такт музыки. Пытался определить, к какой категории её приписать. Скорее всего к пугливым - руки её дрожали.

- Тебя здесь никто не обидит. Это мои друзья. Здесь каждый делает то, что ему нравится, и никто никого не держит и не принуждает.

- Тогда я пойду. У меня дома малыш. Мне надо.

- У тебя малыш? Так сколько же тебе лет?

- Двадцать три. Первый год после института. У меня десятый класс. Я вас хотела на вечер французской поэзии пригласить. А то, знаете, программа такая скучная: Фадеев, Твардовский. Я им хочу немного настоящей поэзии преподнести. Вы ведь тоже, я слышала, зарубежной литературой интересуетесь, песни на слова Рэмбо и Варлена поёте.

- Хороша учительница. Детям стихи гомосеков читает. Это что-то новое. В наше время проводили вечера Маяковского, ну, в крайнем случае, Есенина. Он хоть и пьяницей был, но родину уж очень любил.

- С чего вы взяли, что они гомосексуалисты?

- Что, в университете такому не учат?

Я развязно рассмеялся. Она выдернула свои руки из моих. Поднялась. Я сказал приглушённым спокойным голосом:

- Останься. У меня сегодня день рождения. Не хочется быть одному. И говори мне ты, ... пожалуйста.

Наверное, в жизни нет ничего случайного. Каждая встреча готовится годами, становится звеном в хорошо продуманной цепочке логично развивающихся событий. Не будь у меня такого хорошего музыкального слуха и не стань я инвалидом - я никогда не написал бы своих песен и не стал бы провинциальной знаменитостью. Не встреть я Андрея, не изменился бы мой образ жизни, отказался бы я от очередного приглашения и не встретил бы эту молоденькую учительницу, которая стала вскоре моим первым другом. Впрочем, одна случайность всё-таки была - глаза, так похожие на Алины.

Тоня, Тоня-тоненькая, как называли её десятиклассники, чтобы отличать от Тони-тонны, толстоватой учительницы математики, в двадцать три года, сама ещё почти девчонка, имела уже двухлетнего сына Никиту, которого любила какой-то патологической, болезненной любовью. Позже, когда мы раз в неделю, как по расписанию, встречались у меня дома, а летом - в маленьком парке неподалёку, куда я мог прикатить на своей коляске без посторонней помощи, я частенько выслушивал Тонины рассказы о забавных выходках или болячках её

сынишки. „Кит сказал то. Кит сделал это. Кит не спал всю ночь“, - восторженно или озабоченно говорила Тоня. Заметив, что я безучастен в этом разговоре, спохватывалась и переводила разговор на другую тему. Часто о литературе, и о своих уроках, и об учениках. Меня раздражала её самоотверженность. В школе и дома она тянула на себе всё, что на неё повесили. Как можно столько времени уделять окружающим?

С чувством долга, как у слона, она пеклась о сыне, муже, каких-то близких и далёких родственниках, о своих школьных чадах и даже их родителях. Постоянно устраивала чьи-то дела, улаживала недоразумения, мирила кого-то с кем-то, просто думала о чужих проблемах. Конечно же, такая не смогла равнодушно пройти мимо меня. В её жизни, в которой было всё до мелочей распланировано, мне достался всего один день в неделю - среда, с часу до пяти. В пять надо было забирать Никиту из детского сада и идти домой к мужу, которому она обо мне ничего не рассказывала, не потому что было что скрывать, а потому, что трудно было объяснить, что нас связывало: усталого и озлобленного циника-инвалида и молодую, полную надежд и идей женщину, да ещё замужнюю. Он бы не понял.

Поначалу она меня жалела. Я видел это по её глазам, по осторожным, тактичным ответам на мои провокационные выпады. Она разговаривала со мной, как с больным, как с психбольным, чем меня страшно раздражала, но в силу своего жизнерадостного характера и темперамента, иногда забывалась, спо-

рила, смеялась, а значит приносила жизнь в мою мрачную, прокуренную комнату. Не желая себе признаваться в том, что мой цинизм постепенно улетучивался в её присутствии, я ждал среды, гнал в этот день всех других от себя прочь, пытался на неё настроиться, угадать, в каком настроении будет она сегодня, какой новый трюк или историю выдумает, чтобы отвлечь и развеселить меня.

Иногда меня мучила совесть: что я мог ей дать, какой мудростью поделиться? Я - только новая обуза для её хрупких плеч. Калека духовно и физически, вращающийся в кругу разочарованных, избалованных интеллигентов, фарцов и наркоманов, я накопил за все эти годы столько скептицизма и желчи и выливал всю эту гадость на неё, чуткую, впечатлительную, верящую вопреки. Я не преувеличивал, рассказывал только то, что пережил и прочувствовал, но этого хватало, чтобы её шокировать, заставить загрустить, задуматься над той стороной жизни, которая до сих пор была ей неизвестна. Девочкой её оберегали от мрачных и грязных сторон жизни.

Но она была не из пугливых. Мои психологические способности подвели меня на этот раз. Переработав в своей правильной голове информацию, она приходила в следующий раз и выдавала оптимистический рецепт, читала какой-нибудь отрывок из пришедшей в память по поводу книги и не злилась, когда я одним аргументом разбивал её оптимистические прогнозы и надежды. Злился я, потому что начинал задумываться над её словами и, может быть, немно-

го верить в их правоту, поддаваясь этой убеждённости и силе духа. Смысл её проповеди сводился всё к тому же, десятки раз слышанному: надо бороться, верить, любить.

- Кто из твоих программных кумиров внушил тебе эту чушь? - не унимался я. - Ах, извиняюсь, подзабыл. Это же Коля, гордость комсомола, нас учил уму-разуму: „Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!“ Только в цели немного промахнулся. Бороться? С кем и за что? Верить? В коммунизм, а может быть, в бога? Любить? Может, ближнего своего?

- Человека любить, живого конкретного человека, и бороться за него, и верить в него. Вот тебе и цель, и вера. А коммунизм и тем более бог тут не причём. Привыкли всё на партию или на бога валить и попрошайничать. Бог за каждого из нас не в ответе. Оделил нас разумом - и живите. Верить в бога не унизительно, просить подачек - позор. И вспоминаем мы о боге, только когда нам плохо. Я стесняюсь молиться. Он, если он есть, видит все мои слабости.

- А разве ты не атеистка? Ты, советская учительница! - не удержался я от иронии.

- Знаешь, с тех пор, как у меня сын родился, мне расхотелось ею быть. У меня бабушка по отцу – немка, в детстве мне из лютеранской библии читала и переводила. Что-то, наверное, в душу запало. Во-всяком случае, я верю, и, может, это звучит по-книжному или по-библейски, но на любви держится мироздание.

- Любовь! Мироздание! Да чего же вы, женщины, любите пофилософствовать. От плиты, из универмага - да прямо в мироздание. Что это, изъян у вас в голове какой-то или орган специальный имеется? Мёдом не корми, а дай порассуждать о психологии да философии, с непременными отступлениями в область изотерики, мифологии и астрологии. Мужики тоже любят потолковать, особенно, когда выпьют. О политике, о футболе, новых марках автомобиля. А если мнения разошлись - вышли на крыльцо. Нету рук что ли? А вы всё усложняете, копаетесь, как будто от этого что-нибудь изменится. Потому и браки рушатся. Женщины разборчивые стали. Ищут себе друга или мужа годами, потом найдут такого, чуткого и восприимчивого, с которым можно часами, до того, после того и вместо того в мироздании разбираться, и его же и не уважают, разнеженным слабаком считают, а то и пилят за то, что бочок унитаза починить не может и денег мало зарабатывает. А у него, может, депрессии от неразрешимых вопросов того самого мироздания и сомнения гложут, которые вы же в нём и посеяли. Любите же его, конкретного, депрессивного, нищего. Не хочется что-то?

- Да ты, прямо, как Чехов, только злой.

- Мне не надо быть Чеховым или читать его, чтобы понять, что любить человека невозможно. Потому что не чувствую я в себе ни снисхождения к его слабостям, ни терпимости.

- А себе ты эти слабости прощаешь?

- Понимаю, намекаешь на мой эгоизм. Но если я и эгоист, то, во всяком случае, честный. А вы сами себе врёте, фантазируете, облагораживаете своё несовершенство, не хотите в нём признаваться. Ваши утончённые натуры не могут с этим примириться.

- Вот такие у нас организмы нежные, - процитировала кого-то Тоня, попытавшись превратить всё в шутку и поубавить мой пыл.

- Почему вы не видите реальности? Сколько еще в мире должно расплодиться лжи, грязи и насилия, чтобы выбить из ваших хорошеньких головок этот романтический бред? Если ты хочешь знать моё мнение, то мир держится только на инстинкте самосохранения. Сначала человеку хочется выжить, потом жить, потом хорошо жить или даже лучше всех жить - вот тебе и двигатель прогресса и науки. Удобства себе создаём, потому как мёрзнуть и голодать никому не хочется. Элементарные потребности всё разрастаются, и, как во все времена, всего на всех не хватает. Жадность, зависть и властолюбие, а не любовь движут нами.

- Неправда. Милосердие, сочувствие, сопереживание были, есть и будут. Человек - он ещё дитя. Он ленится, боится и многого не знает. Но в глубине души каждый из нас тоскует по идеалу и ищет его, часто не находит и потому печален. Я жалею людей и не требую от них невозможного.

- И это у тебя тоже инстинкт самосохранения. Ведь изменить ты ничего не можешь, а значит надо сми-

риться. Жалость и смирение! Юродивая какая-то.

- Твой инстинкт самосохранения срабатывает не всегда. Я бы за Никиту, не задумываясь, отдала бы свою жизнь.

- За Никиту, может быть, и отдала бы. Потому что он - это ты и есть. А вот за такого, как я, отдала бы? Молчишь? Не знаешь? Или за свою мать? Она ведь уже пожила, а тебе - ребёнка поднимать, пропадёт он без тебя. Это ведь вертится у тебя в голове?

- Почему для тебя любовь ассоциируется с жертвенностью? Почему бы не оставаться в живых и любить друг друга, делиться душой и мудростью, давать и брать?

- Не стоит. Кто в состоянии взять - возьмёт, даже если не предложат, кто не дорос - получит и не оценит. Так что оставь свою мудрость и душу при себе.

- Да, человек несовершенен. Америку ты мне этим не открыл. Но это не значит, что мы не должны стремиться к совершенству. И от любви можно устать, можно не выдержать или стать корыстным.

- Вот именно, кто из нас способен на бескорыстную любовь? Даже домашние животные любят хозяев лишь за то, что они их кормят. А человек, с его инстинктом самосохранения...

- И дался тебе это инстинкт. Я не знаю, смогла бы я умереть за тебя, но это не мешает мне любить в тебе человека, каким бы сумасбродом ты ни был. И поэтому мне больно, что ты сам себя съедаешь изнутри. Куда делся твой инстинкт самосохранения? Он что-

то очень на инстинкт саморазрушения смахивает.

- Ошибаешься. Не знаю, зачем и за что, но я всё ещё живу и цепляюсь. И это, наверное, самая большая любовь, на какую я способен.

Ответа не последовало. Чтобы скрыть неловкость и перевести разговор в более непринуждённое русло я, надев одну из шутовских масок, произнёс свою дежурную фразу: „Аналогичный случай был с нашей полковой кобылой“. Таких фраз в запасе у меня было десятка два. В основном из Ильфа и Петрова, которых я перечитал раз пять, или же народного происхождения. Пользуясь ими, я слыл остряком, компенсировал, так сказать, мрачную сторону своей натуры, смягчал, если считал нужным, свой цинизм, играл интеллектуала. Мне это шло. Тоня тоже попалась на эту уловку, но и сама многое знала наизусть, как, наверное, все филологички, часто что-то цитировала из классики, но, как правило, что-нибудь весёлое, а не нравоучительное и заумное, и это меня не раздражало. Она могла легко подхватить мысль, закрепив её острым словечком. Как-то мы заговорили о браках по расчёту. Я по привычке нападал на женский пол, обвиняя его представительниц в лицемерии и корысти. Тоня, вместо того, чтобы рассердиться, прочитала двустишие: „А женщины к военным так и льнут, всё потому что патриотки“.

Я перечитал её любимого Чехова и даже Гоголя и Грибоедова. Как добросовестный ученик, пополнял свой словарный запас, чтобы быть на уровне. Пытался иногда быть обаятельным.

К счастью, и таких разговоров было немало. С Тоней можно было побалагурить и просто помолчать, если больше нечего было сказать. Она не боялась жёстких споров и сдавалась только, если я сводил разговор к шутке и заставлял её засмеяться. Её не шокировали бранные и жаргонные словечки. В пылу гнева, разгорячившись, она бросала мне в лицо злые, бескомпромиссные фразы. В такие минуты она мне нравилась больше. Моя школа! Наверное, это сарказм, который у неё иногда проклёвывался и странно сочетался с незлобливостью характера и неподдельным оптимизмом, послужил основой нашего взаимопонимания. В голосе Тони не было материной назидательности и Алиной восторженности. Кажется, мы могли бы стать друзьями. На большее я не рассчитывал.

- Слушай, давай сменим тему. Расскажи, лучше, что твои школьные чада сегодня опять натворили.

- Они меня сегодня опять увели от темы урока. Затеяли диспут: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

- И что же ты им сказала?

- Да я демократично отмалчивалась, дала им выговориться. А потом звонок прозвенел. И чего я только не наслушалась! Если бы директор узнал, что мои ученики на уроке о сексе разглагольствуют, не миновать бы мне выговора.

- Надо бы позвонить ему от лица озабоченного родителя. Развращаешь молодёжь.

- Ну, почему развращаешь? Интересная тема. Почему бы не поговорить.

- Ну, давай поговорим. Я думаю, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, но только в том случае, если у мужчины хребет переломан, а женщина - или учительница, или маруся.

- Какая Маруся? - засмеялась Тоня, не поняв жаргонного словечка.

Удивительные совпадения бывают в жизни. Три женщины, которые в разные времена для меня что-то значили, были очень похожи друг на друга. Это могла быть одна и та же женщина на разных этапах развития личности. Сначала была Аля, с её наивной восторженностью и мечтательностью. А Тоня, с её обострённым чувством ответственности за окружающих - это та же Аля, только перешедшая от слов к действию и убедившаяся, что переделать этот мир не так-то просто. Отсюда и сарказм, начало бессилия. И, в конце концов, мать, притихшая, смирившаяся, уставшая, как результат жизни обеих. Неужели это правда, что сыновья подсознательно ищут в своих подругах замену матери? Или же я притягиваю к себе этот тип в силу своего жалкого положения? Таким женщинам нужно обязательно кого-то спасать, опекать, приводить к порядку. Что ж, лучшего объекта, чем я, им не найти.

Однажды Тоня принесла мне книгу об одном циркаче-инвалиде, жертве несчастного случая, как и я, до пояса парализованного. Он рассказывал о себе просто, правдоподобно, не желая вызвать жалости и

не хвалясь наигранным оптимизмом. Рассказывал о себе и обо всех нас, с той только разницей, что не сдавался, тренировал руки, выступал с каким-то новым номером перед публикой и был независим, так как не нуждался в чужой помощи. Он испробовал каждый новый метод лечения и пожинал плоды: ноги показывали чувствительность, реагировали на горячее и холодное прикосновение, мускулы подёргивались, кровообращение медленно восстанавливалось.

Никому, кроме Тони, ничего не говоря, я последовал его примеру: стал тренировать верхнюю половину тела. Несколько месяцев я ждал результатов. Мне стало казаться, что что-то в моих ощущениях изменилось, что мышцы на моих ногах округлились. Взвесившись, я убедился в том, что поправился на три килограмма. Мой лечащий врач развеял двумя предложениями эту, последний раз вспыхнувшую надежду: книгу он эту, конечно, читал. Но разница между моей историей болезни и циркача в том, что у него позвоночник только надломан и центральный нерв только повреждён, а у меня переломан и разорван. Я знал это и раньше, но поверил в возможность чуда, дал себе слабинку, попрошайничал у судьбы или у самого бога, над которым глумился.

Злость я сорвал на Тоне. Запретил ей навещать меня, а себе - думать о ней. Но она приходила. Терпеливо слушала мой озлобленный бред, когда я, одуревший от травки или же взбудораженный после бессонной ночи, говорил ей гадости и высмеивал её идеалы, которые я сам для неё облекал в словесную

оболочку, издеваясь. Иногда я просто не впускал её в свою комнату, и она, посидев немного на кухне с матерью, уходила до следующего раза. Обязательная и правильная, она так быстро не хотела сдаваться. Она искала для меня и за меня смысла моего жалкого существования.

В очередной раз она явилась не одна, а привела с собой какого-то мужчину лет тридцати пяти, с донкихотовской бородкой и живыми любопытными глазами. Он с порога начал непринуждённый разговор, говорил жестикулируя, постоянно передвигался по комнате и раздражал меня своей суетливостью. Понаблюдав несколько минут за этим Дон Кихотом, я, не церемонясь и не стесняясь его присутствия, накинулся на Тоню.

- Ты кого мне тут привела? Здесь не цирк и не зоопарк, чтобы посетителей водить. Или меня уже никто не спрашивает? Скоро деньги за погляд брать будете! А ещё лучше - решётку поставьте, а то я ещё вырвусь когда-нибудь и поубиваю вас всех, к чёртовой матери.

Тоня посмотрела на меня строго, как она, наверное, смотрит на своих провинившихся школьников, и резко сказала:

- Валера, ты совсем распустил свои нервы. Без твоей травы ты становишься агрессивным и неуправляемым. У тебя уже, по-моему, гонка начинается.

- А ты управлять мной надумала? Не по зубам тебе, девочка. Иди, управляй своими школярами и займись воспитанием своего Никиты, а то воспитаешь

эгоиста и психопата, вроде меня. Знаешь, что говорят про учительских детей? - Они самые тяжёлые. Им такие, как ты, уже в детстве неизлечимые травмы наносят. Души их ранимые не выдерживают такого напряжения: обо всём задумываться, сопереживать, добрые книжки перечитывать и стихи наизусть учить. Так что иди, спасай лучше своего сына, и не води ко мне больше всяких холериков.

- По-моему, среди нас только один холерик, и это ты, Валерик, - срифмовала Тоня и сама рассмеялась. Дон Кихот хихикнул коротко, осёкся.

- Вон, - прохрипел я. И оба вышли из комнаты.

Меня душила бешеная злоба. Как она смела надо мной посмеяться!? Как смела привести этого идиота, не спрося меня!? Как смела она сказать, да ещё при посторонних, что у меня галюки начинаются, что я завяз на траве!? Двое суток я бесновался, но назло себе и Тоне не притрагивался к подслащённому табачку. На третьи сутки я набрал её телефон, коротко попросил приехать.

Не знаю, что она наврала своему мужу, но через полчаса она стояла на пороге моей комнаты, ожидающе глядя мне в лицо. Я отвёл глаза.

- Да ты, оказывается, настоящая, - небрежно начал я. - Если друг в беде - всё бросила и примчалась.

- Валера, я твои театральные фразы и выходки терпеть не могу. Если тебе есть, что сказать - говори. Нет - и меня больше нет. Ты меня, кажется, убедил. В этом мире каждый за себя, ну, ещё, может, за

своих детей, из-за векового инстинкта. А любовь, дружба - это всё преходящее, как ты говоришь, гормоны бесятся.

- Ну, это ты зря. Что, с мужем что ли поругалась или на меня так обиделась? Не стоит. Это только в нас, мужиках, гормоны бесятся, а вы - наш разум и наша контрольная инстанция.

- Валера, не говори со мной таким тоном, будто я маленькая девочка. У меня, конечно, нет такого жизненного опыта, к счастью. И мне очень жаль, что у тебя не было возможности прожить рядовую, нормальную жизнь. Но у тебя нет права винить окружающих в твоей судьбе и их ненавидеть. Вини кого хочешь: бога, судьбу, армию, - но не тех, кто тебя не предал. Каждый из твоих наивных дружков в десять раз благороднее тебя, потому что они тебя не бросают.

- Много ты знаешь, я их подкармливаю.

- Ты думаешь, ты один такой щедрый? Не стали бы они таскать твоё кресло, выполнять твои поручения и терпеть твой несносный характер, если бы не любили твои песни, не жалели тебя.

- Я не нуждаюсь ни в чьей жалости, - снова вспыхнул я.

- Ты зачем меня позвал?

- Не для того, чтобы ты меня жалела или поучала. Я... Я боялся, что ты больше не придёшь. И много передумал за последние два дня. Ты права, я потерял над собой контроль. Но это не из-за травы. Я

расслабился. И в этом доля твоей вины. Не возражай, погоди, дай досказать. Я очень долго был один. Среди людей, но всё-таки один. Всегда противопоставлял себя им. Играл роль, роли. Иногда было скучно, иногда забавно, но я никогда не забывал, что это только роль. А с тобой забыл. Ты только не подумай, что это дешёвое обяснение в любви. Как к женщине, меня к тебе не тянет.

Тоня ухмыльнулась:

- Спасибо за комплимент.

- Нет, ты не поняла. Я не то хотел сказать. Я хочу сказать...

- Да не надо ничего говорить. Принимаю твоё извинение. Над формой ещё можно было поработать, но содержание удовлетворительное, - сказала Тоня наигранно-учительским тоном, заметно оттаяла.

- Ох, не много ли учителей в этой квартире развелось? И сдался я вам? Мать учительница, моя первая любовь - тоже, а теперь вот ты мне на голову свалилась. Что это - совпадение или закономерность? - обрадовшись перемене её настроения, шутливо сказал я.

На сердце отлегло. Не нужно было больше вести этот неловкий объяснительный разговор. Но сказать Тоне что-то очень важное мне всё-таки хотелось.

- Ты, правда, настоящая.

- Мы все настоящие, какими бы мы ни были.

В этот вечер мы долго и искренне говорили, строили планы.

Оказывается, Дон Кихот был руководителем музыкальной группы, которая пользовалась успехом у молодёжи. В своём добровольном заточении, равнодушный к тому, что происходило за пределами моей квартиры, я не включал уже более года телевизор, и потому не знал этого парня в лицо. Он представился своим настоящим, а не творческим именем, и я не догадался, кто он. Но, как оказалось, знал его песни. Это были популярные, лёгкие мелодии и тексты, ничего общего с моими песнями бардового склада. Но это не помешало нам найти общий язык, когда мы встретились второй раз. У меня поубавилось гонору, а Виталий, так звали Дон Кихота, лёгкий на подъём и жадный на новые контакты, не помнил зла, примчался на другой день после моего звонка. Коротко объяснился в любви к моим песням и изложил свою идею: записать мои песни в настоящей студии звукозаписи с инструментальным сопровождением. Я согласился. И начались пробы, репетиции, прослушивания.

Работа с профессионалами доставляла мне удовольствие, хотя признаюсь, что мне не хватало музыкальных знаний. Ребята в группе перебрасывались музыкальными терминами, понимали друг друга с полуслова, мне же приходилось всё объяснять или показывать. Но работа продвигалась. Когда мы записали и прослушали первую песню, я был ужасно горд. Меня праздновали, ко мне относились, как к равному. За год мы записали двадцать песен.

Виталий вёл переговоры в столице, чтобы выпустить пластинку. У меня появилось будущее.

Музыканты - народ интересный, но непростой. Каждый воображает себя непонятым, гением, ждёт шанса, чтобы проклюнуться, выйти на большую сцену. Наши ночные дискуссии о новых музыкальных направлениях, о популярных западных группах, о творчестве часто заканчивались заурядными пьянками и ссорами. Но работа была прежде всего. Наутро, похмелившись, мирились, брались за инструменты и забывали все амбиции. Теперь царицей была она - музыка. Она мирила, объединяла, говорила за нас. Спасала. Спасала и меня. Наверное, за всё в этом мире надо платить, ничего не даётся даром. Неужели мне нужно было стать инвалидом, чтобы найти её, полюбить, отдаться ей и получить в награду покой, радость, чувство удовлетворения? Ведь жила она во мне и раньше, иначе откуда бы взялся этот талант, способность по слуху подбирать мелодии, сочинять свои, импровизировать и усложнять пассажи. В юности, порабощённый своим эгоцентризмом, я копался в своей душе, но проглядел самое главное. Теперь я был свободен от суеты ненужных и бесполезных дел, от жалости к себе и ненависти к окружающим. Я сделал один шаг навстречу, и она пришла, поглотила всё моё время, отвлекла мои мысли от мрачных сторон действительности, изменила ритм, вернее, внесла ритм в мою жизнь.

Появились выходные, когда я отдыхал, и понедельники, вторники и четверги, когда нужно было в

студию, а среды оставались в силе, когда приходила Тоня, и мне было что порассказать. Я напевал под гитару какую-нибудь новую мелодию, просил её подыскать тексты для новых песен, и она с воодушевлением бралась за дело.

У меня в голове постоянно звучала ещё несложившаяся мелодия, мучила, пока не прорывалась аккордом, пассажем, строчкой песни. Всё, что я видел и слышал, само по себе переводилось в моей голове на язык музыки. Даже своё инвалидное кресло я передвигал в ритме вальса или рок-н-рола. Погода перестала мне досаждать. Я полюбил её разнообразие. Дождь напоминал мне звуки африканского монотонного напева, ветер, казалось, танцевал аргентинское танго с дорожной пылью, завихрения тополиного пуха на асфальте вызывали зрительные галлюцинации: девушки, танцующие вальс в белых бальных платьях. Это была болезнь, но очень приятная болезнь, хотя бы уже потому, что настоящая отдалилась на задний план.

Я смеялся над собой. Я превращался в романтика. С небольшим опозданием. В тридцать три года с небольшим.

Потом была поездка в столицу. Запись пластинки, новые знакомые, песенные вечера, выпивки, женщины, доступные и менее доступные, но всегда такие чужие. Были робкие прикосновения и настырные и требовательные движения рук. Но телесные радости были всегда так однообразны, что желание пропадало чуть ли не раньше, чем возникало. Может, это было связано с моей болезнью, с плохим

кровообращением, или травка-нестоялка издевалась над моими поползновениями (в прямом и в переносном смысле), но хорошим любовником я не был.

Я скучал по Тоне, разговорам с ней, иногда звонил ей из телефонной будки, что из-за моей коляски было проблематично, не хватало шнура. Но у хозяйки квартиры, где мы поселились, не было телефона, так что приходилось довольствоваться малым. Через месяц, усталый, расторможенный, я вернулся в сопровождении нашего ударника домой, не ведая, что меня ожидает.

А ожидало письмо.

Валера, я не хотела тебе ничего рассказывать, пока всё ещё было неясно. Но теперь могу, во-первых, потому что время подошло, у нас уже виза на руках, во-вторых, потому, что тебя это теперь не выбьет из колеи. Теперь, когда у тебя и занятие по душе нашлось и масса новых друзей. Я уверена, что пластинку вашу раскупят и у тебя будет много работы, выступлений, творческих встреч. Я тебе напишу, как только появится постоянный адрес, и всё объясню. Наберись терпения. Может, это продлится несколько месяцев.

До отъезда мы поживём у родственников в Москве. Позвони, когда вернёшься

Даст бог, ещё увидимся. Тоня

И номер телефона.

Бог не дал. Разрешил выезд за границу всем, кто не чувствовал себя здесь дома, устал от тягомотины

нашей бесперспективной жизни или просто мечтал увидеть другую.

Тонин отъезд за границу был для меня, как снег на голову. Мы никогда не говорили об этом. Только однажды она упомянула, что у неё бабушка немка. Я не придал этому никакого значения. Неужели она мне не доверяла? Боялась, что не пойму? Чего ещё я не знал о ней? Не успел разглядеть, потерял, потерял.

В памяти остался наш последний разговор по телефону. Я позвонил накануне её отъезда из Москвы. Успел ещё. Трубку взяла какая-то женщина, резким голосом позвала Тоню. Она не могла говорить, а может, не хотела при посторонних, только попросила что-нибудь спеть на прощанье. Я спел. Но слова путались, аккорды сбивались, и все было каким-то театральным, нелепым, будто не со мной.

Потом были месяцы ожидания и, наконец, первое письмо, в котором Тоня жаловалась на трудности с языком, с жильём, на болезни Никиты. В Европе она приживалась трудно, но, как всегда, не сдавалась, оптимистка. Ответить я ей не мог, так как жили они в очередном лагере для переселенцев, искали работу, должны были вскоре переехать. А потом я уже не хотел отвечать на её длинные письма, в которых отражались надежды и отчаянье, сквозили первые успехи и примиренческие настроения.

Мне не хотелось её огорчать, обременять её ещё и моими проблемами. У меня начался рецедив невезения.

Вопреки предсказаниям Тони, творческую карьеру я не сделал. Ребята отправились на гастроли, но со своей развлекательной программой, в которой надо было прыгать на сцене, размахивая гитарами. Вскоре они совсем перебрались в республиканскую столицу.

Меня же, после нескольких выступлений по радио, забыли. Деньги, полученные за выпуск пластинки, быстро разошлись, и я, чтобы не довольствоваться жалкими пенсионными грошами и не стоять с протянутой рукой перед матерью, вернулся к своему прошлому методу их зарабатывать - фарцовке. Чтобы было на что купить молочка.

Конец эпилога

И музыка снова замолчала. Наступила тишина. Я пробуждался только для того, чтобы навести справки, у кого купить или кому продать. Потом я оставался один, курил свою долгожданную, заработанную, заслуженную, или две, или три, и засыпал, и просыпался только для того, чтобы проглотить горы еды (если не было готового обеда, просто хлеба, чтобы утолить этот жуткий голод), и добавить, и снова расслабиться или, на жаргоне, проснуться, и снова заснуть. А если это не удавалось, я прибегал к помощи снотворных, антидепрессивных и прочих средств, которые мне прописывали знающие врачи, или доставали сердобольные соседки и знакомые медсёстры. В моих кругах „колёса“ было достать ещё легче, чем конопу.

Опять не стало ни времени, ни ритма, ни пространства, ни начала, ни конца, ни даже его предчувствия. Чувство середины, как тогда в детстве. Не было и надежды. Человек силён только одной надеждой. Она сильна, а мы нет. Как бы плохо тебе не приходилось, каким бы бесцельным не казалось бы тебе твоё существование, если жива она, хоть одна жалкая её капелька, то будешь жить дальше, карабкаться из последних сил и, возможно, выкарабкаешься. Как бы ты не притворялся перед окружающими или перед самим собой, в глубине души каждый знает, ждёт он ещё чего-то от жизни или всё кончено. В минуты просветления меня пронзала мысль: мне ждать больше нечего, а значит надо

заканчивать своё выступление. Но без веры в бога сделать это было очень трудно. Почему? Что удерживает человека от последнего решительного шага, может, единственно разумного в определённой ситуации? И есть ли у человека право распоряжаться своей жизнью? Как часто я изводил в прошлом мать угрозами покончить жизнь самоубийством, утверждая это своё право, сколько её идиотских доводов и антиаргументов выслушал! Но когда доходило до дела, тряслись руки, и я швырял горсть таблеток в унитаз и только тогда успокаивался.

В свои тридцать восемь лет я чувствую себя стариком, вернее старой вещью, вышедшим из строя прибором - не работает, а выбросить жаль, пусть хотя бы пустой угол в комнате занимает. В жизни матери я играю похожую роль - закрываю брешь, пустоту. Я её судьба, а моя - она.

Может, бог всё-таки есть и слышит наши молитвы, откровенные и скрытые желания и выполняет их? И пытается всем угодить? Матери дал её страдание, отцу - охоту перемен, которые не дали ему сосредоточиться на главном. На чём, он так до конца и не понял. Алю наказал, наверное, её же альтруизмом. Как же иначе? Любящий уязвим. Тоня, как оказалось, рвалась в эмиграцию, а теперь скучает там без своей любимой работы. Меня он безапелляционным и испытанным образом противопоставил толпе.

Мы все получили то, чего просили. Нас поймали на слове. И уже не отвертеться. Но как это жестоко выполнить просьбу ребёнка, который хочет поиг-

рать с огнём. Ведь он, всемогущий, всё знает и всё предвидит. Не любит он нас. Или не существует. А значит, надо жить дальше. А жить-то надо.

Письмо матери в редакцию

Прошло три года после смерти Валеры. Он умер от рака лёгкого, почти до конца оставался в сознании, и, кажется, под конец смирился. А я живу и пытаюсь осмыслить прошлое. Теперь, когда утихла боль и я могу думать о других людях, мне хочется поделиться с ними своим горьким опытом и опытом моего сына. И потому, несмотря на многие нелестные в мой адрес высказывания Валеры, я всё-таки прошу напечатать дневник-повесть его жизни. Написано много книг об инвалидах, которые, проявив волю, не озлобились, а продолжали жить, найдя смысл существования в искусстве, в любви, в работе. Но о тех, кому не повезло, кто не нашёл себя, не справился с испытанием, возложенным судьбой, и сломался, мы вспоминать не любим, потому что не видим смысла в их судьбах. Но это неверно. Есть и у них чему поучиться.

Валера как-то сказал: „Слабые люди не должны иметь детей“. Я проглядела своего сына, часто не понимала его. Я была слишком занята тем, чтобы обеспечить себе и ему тёплое местечко под солнцем, не умела отличать главного от мелочей. Заботясь о его материальном благополучии, проглядела его душу. Каждая мать, которая не сделала ошибок в воспитании своего ребёнка, пусть бросит в меня первый камень.

Но я любила своего сына, путаника и горемыку, его озлобленное и отчаявшееся сердце, его подвижные

тонкие пальцы, скользящие по грифу гитары, и его мелодичные и печальные песни. И его голос. У него был приятный, мягкий голос, когда он пел, и резкий и грубый, когда мы ссорились. И такие грустные и умные глаза. Я видела в них столько страдания, иногда гнев, но это было тоже страдание.

Посылаю вам одно из моих стихотворений из тех, тяжёлых времён. Не для того, чтобы вызвать чувство жалости или оправдаться, а для того, чтобы был услышан и мой голос.

Молитва матери

Ночью нервы тоньше и беда больнее.
Замечусь волчицей от двери к окну.
И за всё, что было, что грядет и зреет,
И себя, и бога в сердцах прокляну.

А к утру притихну, и от слёз остыну,
И закину руки в небесную синь.
Попрошу смиренно: „Сохрани мне сына,
Во имя всего святого. Аминь“.

А святого много ль у меня осталось.
Ты цинизмом века болен сам, поди.
И просить у сильных, вроде, не пристало.
Во имя тех, кто верит, всё-таки пощади.

Не гневись молитвы запоздалой этой,
От сомнений духа наконец избавь.
Только есть вопросы без твоих ответов.
Без вины виновную не оставь, не оставь.

Хоть пути господни неисповедимы,
И по-Достоевски некуда идти,
Если вере жертвы так необходимы,
То возьми меня, а его защити.